web-bib.ru

АЛЕКСЕЙ МЯСНИКОВ

Арестованные рукописи

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Обыск, арест, тюрьма — такова была участь многих инакомыслящих вплоть до недавнего времени. Одни шли на спецзоны, в политлагеря, других заталкивали в камеры с уголовниками «на перевоспитание». Кто кого воспитывал — интересный вопрос, но вполне очевидно, что свершившаяся на наших глазах революция была подготовлена и выстрадана диссидентами. Кто они? За что их сажали? Как складывалась их судьба? Об этом на собственном опыте размышляет и рассказывает автор, социолог, журналист, кандидат философских наук — политзэк 80-х годов.

Помните, распевали «московских окон негасимый свет»? В камере свет не гаснет никогда. Это позволило автору многое увидеть и испытать из того, что сокрыто за тюремными стенами. И у читателя за страницами книги появляется редкая возможность войти в тот потаенный мир: посидеть в знаменитой тюрьме КГБ в Лефортово, пообщаться с надзирателями и уголовниками Матросской тишины и пересылки на Красной Пресне. Вместе с автором вы переживете всю прелесть нашего правосудия, а затем этап — в лагеря. Дай бог, чтобы это никогда и ни с кем больше не случилось, чтобы никто не страдал за свои убеждения, но пока не изжит произвол, пока существуют позорные тюрьмы — мы не вправе об этом не помнить.

Книга написана в 1985 году. Вскоре после освобождения. В ссыльных лесах, тайком, под «колпаком» (негласным надзором). И только сейчас появилась реальная надежда на публикацию. Ее объем около 20 п. л. Это третья книга из трилогии «**Лютый режим**». Далее пойдет речь о лагере, о «вольных» скитаниях изгоя — по сегодняшний день. Автор не обманет ожиданий читателя. Если, конечно, Москва-река не повернет свои воды вспять…

Есть четыре режима существования:
общий, усиленный, строгий, особый.
Общий обычно называют лютым.

- Алексей Мясников
  - От автора
  - День и вся жизнь
  - И было в печали той...
  - Голос из тьмы
  - 173 свидетельства национального позора,

- I.
  - Глава 1.
  - Глава 2.
  - Глава 3.
  - Глава 4
  - Глава 5.
- II
  - Глава 6.
  - Глава 7.

Два стихотворения

Алексей Мясников
АРЕСТОВАННЫЕ РУКОПИСИ

От автора

Перед арестом в августе 1980 г. во время обыска у меня из дома забрали два мешка рукописей и прочих текстов. Два моих текста инкриминировали — за это, судя по приговору Мосгорсуда, и посадили. За «173 свидетельства...» дали три года — «заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный строй», ст. 190'. Рассказ «Встречи» признали порнографическим (ст. 228) и оценили в два года, которые никак не повлияли на общий срок — их «поглотили» три года политического обвинения.

Ну и какой смысл? «Зачем вы присобачили мне порнографию? — спрашиваю следователя И. А. Кудрявцева.

— Антисоветчик не может быть нормальным человеком: он или сумасшедший, или аморальный тип, — был ответ.

И действительно, впоследствии не упускали случая тыкать меня именно в 228 статью, хотя я три года сидел по политической. Такая замечательная казуистика советской юриспруденции. И то хорошо, что не дурдом, там, говорят, и вовсе не сахар — аминазин. Бр-р!

И все-таки это же два текста, а мешках-то чего? Да всякие записки, дневники, конспекты, даже баллады Е. Евтушенко, которые ходили тогда по рукам артистической и прочей интеллигенции: «О разбеге» и «О скопцах». Первая: «Ах, Лебеденок, отставший от стаи. Тебя понимаю — мы оба отстали». Галстук ему повязал пионер и так тут достали уже повзрослевшего Лебеденка, что он побежал.

«И слышалось снизу, из гор и урочищ:
Счастливо, милок, улетай куда хочешь,
Но только подальше, милок, улетай».

Вторая баллада как Самсон — большой бабник попал к скопцам, а те решили ему помочь — отрезать «чем он так творчески трудился».

«Самсон ума еще не пропил,
Был у него знакомый Опер
... Встал Опер свой ТТ сжимая,
Что доказать скопцы желают?
А может (мысль пришла тревожно)
Что жить без органов возможно?

И был суров его ответ —
У нас в стране Советской — нет!»
И все-таки отрезали Самсону
«Чем он как орденом гордился».
«Скажите: Вас не оскопили?

А может Вам и невдомек» — обращается автор к читателю.

Забавные стихи, с подтекстом. Другого автора могли бы за них посадить, но Евтушенко был операм уже не по зубам. Посадили меня. Однажды, по́ходя, я сказал ему об этой истории. Он промолчал, лишь обратился к спутнице, польской журналистке, показывая на меня: «Сидел. Диссидент». И дальше пошли.

Да много чего еще забрали: выписки из Бунина «Под серпом и молотом», из Булгакова «Роковые яйца», В. Ерофеева «Москва — Петушки», стенограмму обсуждения книги А. М. Некрича «1941 г. 22 июня» в ИМЛ при ЦК КПСС и т. д.

Зачем? «Вещественные доказательства». Очевидно, моего преступления. И чего же доказывают? Следователь ткнул в страничку моего старого дневника: «Вы еще в 60-х годах плохо о комсомоле отзывались».

В качестве вещественных доказательств забрали также некие мои беллетристические опусы — короче, все бумаги, которые нашли в ящиках письменного стола.

После реабилитации в 1991 г. Мосгорсуд вернул мне почти все арестованные рукописи. И те, за которые посадили, и «вещественные доказательства». Рассказ «Встречи» я уже опубликовал в сборнике «Как жить?» Остальные предлагаю сейчас. Это помимо «173 свидетельств...», повесть и пара рассказов. Чего они доказывают, кроме скромности моего писательского дарования, я не знаю. В этом разбирался Мосгорсуд, теперь пусть судит читатель.

* * *

Еще два стихотворения. Давно это было в Свердловске, там я служил в армии. Друг моего друга А. Балаховского, музыковеда. Просто прочитал и дал. Я даже имени не помню. Но стихи, по-моему, заслуживают внимания. Они тоже были арестованы, да и сами по себе хороши. Может, еще жив этот поэт. Пусть небеса аукнутся.

2010 г.

День и вся жизнь

Кириллыч каждый день приносил доски. Строгал на кухне. Жжить! — из-под рубанка летела толстая стружка. Шшить, шшить! — курчавились белые завитки, рассыпались во все стороны, и кухня походила на парикмахерскую, где стригли греков из книжек про аргонавтов. Я любил наблюдать его работу. Шишковатые, скрюченные пальцы держали инструмент цепко. Топор ли, рубанок делали свое дело играючи. Притомится, вытрет большим мятым платком лысину, скажет: «Бабка довольна будет. А то и сама посидит. Как, Лексей, — может такое быть?»

— А почему бы нет? — кричу ему на всю кухню. Он вроде бы слышит, кивает головой, долго сморкается.

С утра Кириллыч брал оструганные бруски и ехал на кладбище, примерял. А что их примерять? Замерь разок, наделай заготовок и ставь у могилки. Всего-то дела: столик да скамеечка. Но растянул работу надолго. Уж все, казалось, готово, — нет, что-то подстругивает, поправляет. Каждое утро собирал деревяшки, обвязывал их бечевкой и уезжал. Кладбище далеко, за городом. Возвращался под вечер. Не раз я видел из окна, как идет он домой. Мокрый шлепает по осенним лужам, сгорбленный под тяжестью своей деревянной поклажи.

— Да не майся ты, дед, — кричал я ему в глухое ухо.

Он проходил молча. Потом за чаем признавался: «Ну, поставлю, а дальше что? Оградка есть, памятник зятья поставили. Мне-то что делать?» Он снова и снова сооружал на столе верстак и раскладывал доски. Исчез рубанок — появилась стамеска, исчезла стамеска — появилась наждачная бумага: сначала грубая, потом мелкозернистая, а потом еще мельче — нежная, как бархат. До поздней ночи возился Кириллыч на кухне. Работал.

Я прожил с ними в маленькой коммунальной квартире два года. Жили они скромно. Но не от бедности теперь, пожалуй, а от привычки к бедности. До самой старости хлеб им доставался с трудом. Когда-то Кириллыч устроился на завод плотником и вывез семью из нищей деревни в город. Только зажили — война. Кириллыча эвакуировали вместе с заводом. Тетя Ира уперлась: «Не поеду. Умирать буду дома». Сколько ни бился Кириллыч — не помогло. Собрала жена пожитки и с двумя малыми дочерьми отправилась в родную деревню. Он — на Алтай. Вернулся лет через десять. Сильно оглох — пришибло доской голову. Семью застал в сильной нужде. Девочки подрастали. Тетя Ира возила воду, работала в поле, сторожила колхозные амбары. Перебивались с хлеба на воду. Позади жуткие года оккупации.

— Ены мытарили: зачем мальчика нету? Так всю семью забрали, заперли в амбар. Неделю держали, пить не давали. А выпустили — выползаем: дайте хоть каплю воды... В такое военное время молчок — дверь на крючок, ша! чего знаешь — говори, что не знаешь, — вспоминала тетя Ира.

Из деревни Кириллыч снова перебрался с семьей в город.

— Приехала я в Москву. Дай, думаю, в храм схожу, проведаю, как дальше жить, что делать мне. Две девочки на руках, этот из Сибири приехал — что мне церковь подскажет?

Но тетя Ира не находила места в городе. Где, правда, уборщицей подработает, где сторожихой, но только до весны. Чуть появится ранний подснежник, сморчок первый проклюнется — она в лесу. И не вытянешь ее оттуда никакой силой. Из леса — на базар, а то у магазина стоит с корзинами. Торговала цветами, грибами, ягодами. Продаст — снова в лес, до поздней осени. Так всю жизнь. Дочери вышли замуж. Разъехались, но не забыли мать и отца — помогают. Плюс пенсия у Кириллыча. Можно бы и успокоиться. Да куда там: только пахнет талым снегом — мчится бабка из города. Денег от дочерей не брала. Они сердились. Она не брала. Сама всех снабжала: вареньями, соленьями и на рынок еще оставалось. Упрямая была бабка, с характером. Маленькая, сухонькая, с широким скуластеньким лицом, сточенными по самые десны изъеденными зубами, обычно ворчливая и озабоченная — она не производила сразу приятного впечатления. Бабка как бабка — что с нее взять! И только потом замечаешь: да ведь она личность и личность — яркая. Всегда при деле, где бы она ни была, все подмечала, на все у нее свое мнение и своя оценка. И не задержится на языке. «Болтать она мастер», — говорили соседи. Но в том то и соль, что при всей разговорчивости, она никогда не болтала. За два года я не услышал от нее сплетни. А главное — ни одного лишнего или тусклого, расхожего слова. Ни разу! — редкое качество. Родниковое слово ее было чистым и точным. Она никогда не повторялась. Всякий раз, когда она начинала говорить, я видел творчество. Слово играло. Сравнения неожиданны и безупречны. Неправильность выговора или отдельных фраз не только не резала ухо, но удивительными образом оборачивалась достоинством языка придавая ему особое очарование и колорит. То, что у другого человека выглядело бы вульгарным, у нее получалось озорно и остроумно. Чудо этих превращений — свойство особого дара. И этот дар, пробиваясь из темного сознания неграмотной женщины, питал море родного языка. В таких истоках величие и богатство русской речи.

С первых же дней я стал записывать тетю Иру. Столовались

они обычно на кухне, и мне было удобно за чаем, как бы между прочим, чиркать в записной книжке. Да не тут-то было. Кириллыч быстро уличил меня:

— Мы тобой языки распустили, а Леша — на карандаш. Ты, бабка, только хорошо говори.

— Наговорю — к судебному делу пришьет, — высказалась тетя Ира.

Моя писанина ее, разумеется, ничуть не смущала. Но дед был на стреме и пришлось изменить тактику. Теперь я записывал у себя в комнате, а мои частые перебежки оставались вне подозрений.

... Каждый по-своему помнит о человеке и ставит ему свой памятник. Пока Кириллыч строгал, шлифовал, а потом долго красил свою нехитрую кладбищенскую «мебель», я перелистывал странички записной книжки. Я вспоминаю наши кухонные посиделки и мне является живой образ. Образ, который она создала сама. Образ человека, жизнь и слово которого неделимы. Такой она была. Такой пусть и останется среди нас...

Стучат в стену, выбегаю на кухню.

— Леша, я в телефон стучу — чай скипел, — смеется тетя Ира, показывает ложкой на розетку.

— Такой ложкой розетку расколоть можно.

— Ложка — ледокол. Лед колоть.

— Зато мимо рта не пронесешь.

— А я и так не близкозорая, — ехидничает она над моими очками.

Сидят с Кириллычем, завтракают. Ест она бойко, причавкивает. Но молча не может. Просит Кириллыч творог.

— Творог не дорог, — тетя Ира открывает створку окна, достает из «холодильника» пачку. Пока разворачивает, да мнет в чашке, да заливает молоком, ценное замечание:

— Смотря как лаборантка молоко простерлизевт, отсерпартирует. Попадет хорошая лаборантка — молочко чистое, а то такая попадет — телят поить и те пить не будут, а люди все жруть за свои кровные.

Подвигает это сомнительное блюдо Кириллычу, тот покорно уплетает. Глух он — не слышит ее заботы. Но попала шлея — надо ей остеречь нас от всяких напастей.

— Ты, Леша, чай пьешь такой черный?

— Кофе.

— Кохве? Все одно не уликайся. В нашей воде известка есть. У нас, правда, накипу нет, у Тони накипу нет, у Нюры накипу нет, но чайники понимать надо: внутри — как цементом облито.

— Таким мне чайник по наследству достался.

— От Жульбы-то? (То есть от Тамары, которая до меня жила). Чтоз ей взять. Собака есть собака. Жульба, — ей говорю. «А ты — Жучка.» Вот и хорошо. У нас с тобой заголовные буквы одинаковые: ты с «ж» и я с «ж». Ха-ха-ха.

Смеялась она басисто, со значением.

— Теть Ир, за что вы ее не любите.

— Эт я люблю. Мужик — от не любил. Начнут соревнование — бьются до основания. А он ей и говорит: буду не емши, не пивши, но чтобы в этой комнате с тобой, стерва, не живши.

Кириллыч встрепенулся. Видно, до его далекого уха «стерва» долетела. Беда с этими недослышками: чего надо — не докричишься, чего не надо — чудом поймают.

— Никак, бабка, ругаешься?

— У нас берия-доверия. Леша — он с вопытом, — подмигивает и говорит потише: — Глупый глухого успокаивает... А, пра, Леша, ты с какого?

Кричит деду в ухо:

— Леша с сорок четвертого, а мы с тобой с шестого — насколько Леша имеет молодость за нас?

Кириллыч остановил ложку, напрягся. Но тетя Ира по-своему разобралась в арифметике, сказала задумчиво:

— Леша нам в сынки пригодився... У вас на работе есть где поесть?

— Буфет, столовая, ресторан.

— У-у! И этот, наверное, есть, как его...? Хвил... хвила...

— Филиал.

— Во-во, хвилиал! Ну это хорошо. Да ж на него деньги надо. Это ж сколько денег! Где их взять столько, Леша?

Тетя Ира убирала со стола, готовила к чаю. Я складывал в целлофановый мешок остатки хлеба.

— Хлеба не выбрасывай — грешно. Господи, какие же люди есть безбожные, как можно полбуханки выбросить?

Достает варенье.

— Посмотри, какое варенье, как янтарное, — это золотой ранет.

— Слезы спящей красавицы, — подхватываю.

— Да, да, да, только так можно назвать... А это чья банка?

— На окне что ли? Не знаю.

— Дед, чья банка?

— Чья-то, — лукавит Кириллыч.

— Дед-то на язычок способный, когда б на деле такой был, деньги бы не переводились. Так теперь, что — на жереба бросать?

Давясь смехом, я пожелал им приятного аппетита и ушел к себе заниматься. Августовское солнце заливало комнату. Я

присел спиной к окну, чтобы бросить тень на бумагу. Помогло, но не надолго. Солнце подкрадывалось со стороны, листы горели нестерпимым блеском, приходилось снова передвигать стул и забегать несколько вперед солнца с запасом тени. Стук в дверь. Не дожидаясь ответа, влетает тетя Ира:

— Купила орешков кедровых, девяносто четыре копейки, и думаю, что-то дешевые (а большие деньги, почти рубль), что-то продавец нахваливала, бери еще, бери два килограмма. Когда хвалят, знай — что-то есть. Я расщелкала, а там — один дым. Слушай, дорогая, орешки дюже хорошие, возьми их обратно, а мне деньги отдай. Ни, не хочет брать. Нет, возьми. — А мож ты отсыпала? — А я не отходила, если недостаток, то твой — сама недовесила. Мол, старушка, так ей все сплавить можно. Но я порядок знаю, как негодный товар продавать, по всем кодексам законов требую. Она как взревет. Взрыв! Не реви, ты не медведь, давай зеведущую. Она еще пуще, прямо на дыбы. А я деньги получила — и был таков.

— Так им, теть Ира. А вон и Кириллыч появился.

Кириллыч выглядывал из-за дверной занавески, иронизировал. Тетя Ира обернулась:

— С подшорки подсматривает. Не гляди: он притворится, будто старенький, а потом примолодится — эк вынырнет. Не мешай Леше, видишь, работает.

Дед что понял, что не понял, но несколько опешил от такого наскока, возразил:

— Ты мне о Леше не говори, я знаю, какая у него ухватка.

Я как-то признался ему, что не могу ни письма написать, ни в баню сходить, пока не кончу работу — он это имел в виду. Но для тети Иры секретов не было:

— Человек уликается своей работой, которую понимает, а мы с тобой — балаболки.

Кириллыч не сдается. Протягивает из-за спины брошюрку, кладет на стол — он, мол, по делу зашел. Надевает перехваченные синей изоляционной лентой очки и сосредоточенно, вслух читает на обложке мою фамилию. Шишковатый палец лежит на двух буквах. Преимущество явно на стороне деда. Тетя Ира не умеет читать. Поджала губы, смотрит выжидающе. Нет, не упустит момента утереть Кириллычу нос. Тот спрашивает меня:

— Что такое А. А.?

— Алексей Александрович, — выпаливает тетя Ира. Дед только охнул. Перехватив инициативу, она окончательно разделывается с ним:

— Вопрос, поднявши нос, ходишь тут. Алеша ученый, среднее

образование кончал, али какое Леша? Верхнее? Это не кухры-мухры. Леша имеет сверхнее образование, вон университет кончал.

И уже ноль внимания на Кириллыча, перешла на сугубо светскую беседу:

— Ты профессором будешь?

— Вряд ли.

— А что, это неплохая техника — врачом, профессором. У нас сейчас новый врач — так пьет...

Кириллыч почесал плешину, потоптался.

— Ну пойдем, бабка.

Измерив его небрежным взглядом, подвела черту:

— Вспомни дядьки Ленина слова: учись, учись, учись.

Обедали вместе. Застал их, когда накрывали на стол. Шла обычная перепалка. На этот раз темой дискуссии было, какую банку грибов открывать. Стороны не замыкались на узкой проблеме, демонстрировали кругозор и эрудицию.

—... Ты б меня подматросил — давно бросил. К чему нам трехлитровую-то открывать.

— Сколько лет стоять-то ей? Давай ташши, — гаркнул дед.

Она оскорбилась: «Совсем спрокудился», — но сбегала. Идет, бубнит:

— Встретил как-то Матвей: что, твой в отпуске, а ты цветы продаешь? Зарабатываешь. Не то, что моя. Я ему: не греши на свою, она не хуже, а получше будет меня.

Кириллыч нахмурился:

— Со мной так никто не разговаривает. Так скажу, что ему говорить нечего будет.

— Погремишь, погремишь — и сядешь на старые яйца. Филолог! Ён на подхопах и ты на подхопах. Э-э, знать надо, как с людьми разговаривать.

Завидев меня, тут же призвала в союзники:

— Этот дед изобретения модельного. Его не обшарашишь, он сам обшарашит кого хошь, правда, Леша?

— Да ладно вам, одного поля ягода.

— И то верно: два друга — метель да вьюга. Грибы жалко. Грибы — это такая, Леша, индустрия.

Между тем соленые маслята красовались на столе. Тетя Ира разливала дымящиеся щи.

— Когда на эту банку брала, смотрю: ан гриб стоит, белый, как дерево, — вот такая шляпа, как шляпа мужская. Я его за рупь пятьдесят продала. Семьсот грамм! Эт сколько? Килограмм без трехсот грамм — во! Помню, далеко в лес ушла. Встретил меня военный с собакой: идем, бабушка. А вы что меня штраховать

хотите? Да я пенсию не получаю. А он идить, идить, километра два прошли. Деточка, ну скоро? Заходим, а там соба-ак! Стойло. Как телята, как быки старые стоят. Ка-ак грянут! Хорошо взаперти, на цепях, а то разорвали бы человека. Во как грибы достаются. Как елки.

— А как елки?

— Лыжи надо брать в лес, если елку везешь. Милиционер встретит в лесу: откуда, бабка? С фигурного катания, милок, еду... И штраху рублей на двадцать. Страшно стало в лесу.

— Не ходи, где не след, — вставил Кириллыч, прихлебывая.

— А то, указчик! Мы ходим двоем с подругой. Напал один враг: ложись, бабка. А мне что? Пока я добегу, он ее уделает. Спасибо — грибнички отбили. Вот люди какие пошли. Зверя не бойся, а людей бойся. Надо партией. Двадцать лет никогда не боялась, а нонче все, ша, одна не пойду.

Кириллыч посочувствовал:

— Есть же дураки, их не ро́дишь, не ро́стишь — сами родятся.

— Самородки, — заключила тетя Ира.

Разворчалась она не на шутку. Тут военные, там милиция, там хулиганы — кто бы людям в промысле помог. Приспособление, что ли, какое бы сделали.

— Ходасевну, покойницу, встречаю: откуда идешь? Она: за черникой ходила. Сколь черники было, а Савелий приехал из Германии, сделал машинку и всю чернику обобрал. И так чисто обмолачивала — ни одной ягодки не пропустит. Идет, а мерка у него здоровая — ведра два — и все черника. Столько вина было.

Обед мы прикончили быстро — нас ждал арбуз. Кириллыч постарался — полдня выбирал. Вот он несет его из комнаты — улыбается. Кряхтит. — Да, большой арбуз. Тетя Ира вытерла фартуком, приготовила самую большую тарелку. Поставили. Удар ножа — и зеленое брюхо с хрустом распорото. Кириллыч потемнел. Арбуз оказался белый. Тетя Ира на секунду смешалась, но тут же повернулась ко мне:

— Леша, помнишь, ты дыню приносил? Притяжение, как красное солнце, к той дыне. — Низкий поклон Кириллычу: — А за ваш добрый арбузик благодарственны всегда — что б не видеть его никогда.

Кажется, такой удар называется с оттяжкой. Да, не повезло Кириллычу. Тетя Ира достала яблоки:

— Кисло-сладеньки как мармеладики. Нюся говорила: башкирские. А баптисты тоже свою веру знают. И башкирцы — у них своя вера, да?

Конфуз замяли. Но Кириллыч был мрачен. Сокрушался. Видно, его досада передалась тете Ире.

— Э-эх, жизнь хорошая, но спокою дюже нет.

Я попытался разрядить атмосферу:

— Не надо печалиться.

— А чему радоваться. Жизнь тяжелая.

— Ну, если жизнь тяжелая, да еще унывать... Наоборот надо, теть Ира.

— Если бы наоборот, два пальца в зад, а таперь в рот, а то ведь жрать надо, одень, накорми.

Я не терял надежды выправить настроение.

— Все же лучше стали жить.

— А как жа! У нас тут кормят, заботятся, всех сачков, всех филонов угощают. Был у нас — жрать здоров. Надуется, брюхо, как камень, носит. Как овца цыганской породы, знаешь, хвостатая, с курдюком ходит? По два килограмма хвост — на тачке возят. Так овца не может ходить — курдюк причепит и нет хода.

— Ты об Иван Васильиче, что ли? — встрел Кириллыч.

— А то об ком? Во дает! Бычок — 96 килограмм. Щас наверна на двести пошел — производитель внутренних дел. За границу ездит. Там машина у каждого, на правительств никто не обижается, не то, что у нас — сморщенные, как грибы.

Задумалась. Моет посуду. Протирая тряпочкой тарелку из-под злосчастного арбуза, вздохнула:

— Была я у него. Жинка еще мастистей. А в квартирке чего только нет: наволочки сияют, как золотые птицы, одеяла атласные, ковры всякие согласные... Не-е, батька Ленин умиравши так сказал: кто работает — тому кушать будет, а кто лежит, как медведь в берлоге, — пусть лапу сосет. Вот хундамент опчества.

Ну что оставалось делать! Моральный дух нашего застолья падал катастрофически. Вспомнил я, что она любит «В мире путешествий»!

— Теть Ир, вы смотрели вчера телевизор?

— Да, у Дуси... сказывали про обезьян. Я не расслышала, чем они питаются?

— Бананами, а иногда набеги на поля делают.

— На совхозные? И большой ущерб?

— Какие в Африке совхозы.

— Да я откуда знаю... Колхоз когда, Леша, начал? В тридцать втором?

— Так, примерно.

— Вот, в тридцать втором нас обобществляли. Взяли молодого жеребца да еще спрашивают — чей? А я стою, реву: чей, чей, ваш, конечно. А он смотрит на меня, а я ему: Кобчик, Кобчик! Такой был жеребец! Едет начальство на нем, а он к нам

сворачивает — станция! — им куда надо, а он к нам во двор. Родинка была в ем.

Со стола убрано. Посуда перемыта. Газета «Труд» едва удерживалась в поникшей руке Кириллыча. Подперев рукой лоб, он дремал в типично читательской позе. Тетя Ира оживилась. Склонилась над его ухом и что было мочи:

— Здравия желаю — с похмелья умираю!

Кириллыч вздрогнул, выпучил глаза. Я засмеялся:

— Ну бабка — всем бабкам бабка!

— Так и тянет на грех!

Слава богу, кажется рассосалась арбузная печаль. Старики, перешучиваясь, собирали очки, газету. Мы расходились. Вдруг за окном послышалась духовая музыка. Медленные, тяжелые звуки росли, надвигались все ближе. «Тром! Тром!» И так это было некстати, так не вмещалось в гармонию солнечного дня — не было сил слушать. Но мы стояли, как прикованные.

Неожиданно тетя Ира сказала:

— Домой повезли...

— Кого?

— Бог знает, повезли на кладбище. Это дом наш. А здесь мы в гостях.

— У кого в гостях?

— Известно, в Советском Союзе.

... Она умерла через год. Хоронили ее точно в такой же день. Купола церкви, где ее отпевали, соперничали с солнцем. Их золото струилось сквозь раскидистые ветви старого церковного сада и горе провожающих смягчало благостью. Закопали на новом кладбище. В светлом лесу. Под березой. На зеленой полянке. «Мамочка! — плакала старшая дочь. — Ты мечтала остаться в лесу — вот и исполнилось».

1974 г.

И было в печали той…

8 марта 1976 года Леонид Павлович Филиппов пришел из ресторана «София» и заплакал. Что случилось? Ничего не случилось. Да, на чужой счет. Да, без женщины. Ну погрустил, помаялся бы на одинокой постели — кто же не маялся — так нет. Уж только открыл коридорную дверь, как вдруг, будто злой детской ручонкой — по глазам. Прислонился к стене, схватился за голову и хлынуло из него проливным дождем. Метнулся в комнату. Заперся. Глубокой ночью, совсем уже обессилев, он глянул на образа. Ни одна из заступниц: ни Владимирская, ни Тихвинская — не шевельнулась в темном углу.

— Хи-хи! — услышал Леонид Павлович.

В окне дергался черт и дразнил его маленьким красненьким языком. Голова Леонида Павловича провалилась в подушку.

И было в печали той четыре пункта.

1. БЫТ

«Что наша жизнь?» — пел иногда наш Герман. И отвечал: «Жилье и деньги!» У кого что болит. У Леонида Павловича не было ни того, ни другого. То есть было, конечно. И не было. Жил он на 140 рублей в коммуналке с тремя соседями. На руки получалось шестьдесят, а комната ему не принадлежала. Не ныл однако ж Леонид Павлович. Такой ценой платил он за развод, за дочь, за гражданские права в отечестве, за вынужденное счастье называться членом профсоюза. Партвзносов не делал, ибо не состоял. Владея немножко пером, пробивался на гонорарах. А то займет трояк у соседки и тянет до получки. В этом Леонид Павлович поднаторел. На два с полтиной гуляша или антрекотов в кулинарии. Тридцать копеек — кости. Вот тебе и бульон и второе дня на четыре. Однообразно, но посытнее столовского. Главное — дешевле. Мяса последнее время не брал. Доброго не достанешь, от жил проку мало. И дороже. Экономил на всем. А как иначе? Только на транспорт да сигареты — червонец, поживика на 50 рэ. Одни ботинки купить — сорок рублей. А ведь одеться надо приличней. Не сирый дворник Леонид Павлович — журналист, сотрудник почтенного журнала «Шелапутинские курьезы». В командировках царь и бог, но встречают-то по одежке. Да и в своем городе, на службе, нельзя быть хуже людей. Честолюбив он был — этого не отнимешь. С волчьей тоской ждал Леонид Павлович очередного гонорара. Но что толку — на утро

оставалась самая малость. Долги. И потому одевался скромно. Ходил в изношенном — что осталось от семейной жизни. Тогда тоже не хватало, но с женой не бедствовал. И зарплата была целей, и теща благоволила, и сам хватался за любую работу — все-таки была ответственность, семья.

— Опять у тебя яйцо всмятку! — вскипел он однажды, испачкав желтком пиджак. И ложкой об стол. Жена налилась цементом, сжала губы. Три дня не разжимала. Спали спина к спине. На четвертый день чистил Леонид Павлович картошку. Кожуру в газетку и на край стола. Залил картошку водой, пошел.

— Убери мусор! — скомандовала жена.

— Потом.

И пошел. Ну, ему в спину, конечно, эта самая кожура. Залетает жена в комнату: «Иди подбирай».

Он вышел в прихожую. Просторная была прихожая, с картинами. Она за ним: «Иди, говорю, подбирай». Ему бы выйти, подышать свежим воздухом. Да сколько можно. Сколько можно дышать по ночам свежим воздухом, ночевать на вокзалах.

— Уйди.

— Не уйду, пока не подберешь.

Развернул он свою ненаглядную, дал чуть пониже спины. Она на него. Он — в зубы. Больше они не ссорились. Уезжая в командировку, оставил на столе заявление. И сказал жене: «Подпишешь — отнесу в суд». Она подписала. Так обрел Леонид Павлович желанную свободу.

Не то, чтобы он не любил жену, но тяготиться стал страшно. Быт все больше и больше вовлекал его в вещи, в безысходную суету. Накатанная колея опротивела. Домашние заботы захлестывали с головой, их все прибывало, и уже ясно чувствовал Леонид Павлович, как никнет парус и лодка его все больше забирает в гнилую, тинистую гавань и не было сил повернуть ее. Пришлось броситься вплавь, назад, в открытое море. Теперь и багром не затащишь. Воля, солнце и безоглядная даль. И рыба, много рыбы. Леонид Павлович рыбачил. И заметил, что здесь даже лучше клюет, чем с лодки в помойной гавани. Не потому ли и те, кто на лодках, так часто отваживаются сюда. После, конечно, сделав тайком свое дело, оборотнями уходят обратно. Да не в рыбе только дело. В испытании. Что ты можешь? Для чего рожден? Только ли для продолжения рода? Для исполнения предначертанного? А в чем твой высокий смысл и твоя подлинная сила? Леонид Павлович решил испытать себя. Болтается с тех пор на открытой воде, уходя все дальше и дальше к линии горизонта...

Сочувствовать, завидовать Леониду Павловичу — не знаю. В

быту он волен себе и должен быть счастлив. Другой бы вообще не тужил. Если по уму — и при такой скудости средств жить можно. Отложи с гонораров — ведь отваливаются же куски. Распланируй копейку. Разведи знакомство, блатишко. Будешь и сыт и одет. Да не такой человек Леонид Павлович. Беспутен он. Слаб был, потому что очень любил радость. Работать работал и часто запоем. Но и гулял запоем. Чуть дело к вечеру и уж не по себе ему. Ищет праздника. Общество, музыка, женщины. Где ж найдешь все это, если не в кабаке? А на какие шиши? Насидится так, позатягивает поясок, бах! — гонорар. Эх, и раскручивается тогда поясок Леонида Павловича! Любая музыка ему мила, любая женщина, любой кабак. Нет больше жизни, есть этот миг и пропади все пропадом. И в доме Леонида Павловича в эти дни пьяно и весело. И всего досыта. Страх не любил, когда чего-нибудь не хватало. Особенно вина или, допустим, женщин. Старался всегда чтоб хватало. Без них, этих праздников, он не мог — все остальное теряло смысл. Потом шли тощие будни. Он принимал их как должное и уходил в работу. Такая жизнь устраивала. Но — до поры, до времени.

Как-то поймал он себя на том, что в одинокую комнатенку свою ему заходить противно. Переехав — в который-то раз! — на новое место, сказал: «Надоело!» Потом вспомнилось ему, что годы идут — перевалило за тридцать. Вместо старого застойного быта образовалась другая бытовщина — ничуть не лучше. Не то общество, не та музыка и женщины тоже не те.

А ведь было время, когда Леонид Павлович был весьма избирателен. Тянуло к хорошим, знающим людям. Многим, очень многим обязан он им. Что мечталось в двадцать лет и о чем он и думать не смел — исполнилось. Уйдя из разбитой, поруганной семьи, где мать выбивалась из сил — одна с тремя гавриками, поступил в ремесленное училище. Работал слесарем на металлургическом заводе. Среднюю школу кончил заочно. Учиться не любил, а иностранный и математику терпеть не мог. Единственно, что любил — писать. Писал дневники. Издавна и почти каждый день. Видел, что пишет плохо, коряво, воротило его от написанного — не унимался. Не само писание — общение, вот что было дорого, незаменимо в листе бумаги. Ему он поверял то, что никогда и никому не говорил, а сказать было надо. Вот охотник — разговаривает же с собакой и с пнем говорит. Ленька Филиппов говорил с бумагой. На изломе юности, выбирая пути-дороги, сказал себе: буду писателем. Хоть каким, лишь бы писать. Вот так: буду слесарем и буду писать.

Ему повезло. В тесный ленькин мирок вошли большие добрые люди. Университет. Первое печатное слово — его слово. Теперь

вот прочное место в приличном журнале. Попутно: редкие, умные книги, большая музыка, светлые головы. Серость, довольство — на дух не принимал. Почему ж не сроднился с людьми, а носится теперь с серостью? Уж не своя ли серость тому причиной? Может заносчивость? Да все тут есть, пожалуй. Чурается Леонид Павлович вторых ролей, на первые же не тянет.

Надо вперед, вперед. Но куда? — конца-то не видно. Два вперед — шаг назад, а то и в сторону. Да еще радость. Заносит она. Что солнечный зайчик — кинешься, а он в сторону. Бросаешься за ним до изнеможения, пока не одумаешься. Снова — в путь. И все же идет Леонид Павлович и думает: как схватить ее, эту радость? Ведь тридцать два года — где же она? Где?

Решил начать с малого — купил занавески. Украсил каморку иконами. Люстру повесил. И забыл совсем, что на песке ведь уют возводит.

Но ему напомнили. Был кутеж. Васька, Динка, Манька, Славка и прочие. Сначала хвалили новую обстановку. Потом ели фрукты. Леонид Павлович привез с юга, из командировки целых три ящика. А завтра — в отпуск: надо было раздать, доесть фрукты. Потом, естественно, упились. Пошумели.

— Ребята, кому нужен пес?

— Мне, мне! — кричали женщины.

— Только, чтоб сразу — профессор не ждет.

— Профессор — пёс? — обрадовались женщины.

— Да нет... сучка японская...

— Ха-ха-ха!

— Троих родила...

— Вадик, хочу пса! — орали женщины и стреляли арбузными семечками. Славка заметил, что с зеленых грецких орехов, именно почему-то зеленых, его всегда тянет на лирику. Всем почему-то стал мешать свет. Потом Борька перепутал Динку с Танькой. Васька подлетел к Борьке, — стали, потихоньку рыча, выяснять отношения. Олег полез на чердак. Кондрашов тянул Борьку с собой. Разошлись мирно. Всю ночь игла скребла забытую пластинку.

Наутро старый сосед, хозяин комнаты сказал Леониду Павловичу: «Гульбу запрещаю». Через пару месяцев у Леонида Павловича опять случился праздник. Снова запрет. А тут как-то звонит в дверь знакомая девушка. Открывает сосед и срывается с горла. Докатился. Теперь поодиночке нельзя.

Формально есть три выхода: получить, купить или жениться на квартире. Получить бы рад, да не дают. Жениться: о-хо-хо! Остается купить. На 60 рэ? На гонорары. Надо налегать на работу. На ту, за которую платят. И вообще — за работу! Хватит!

2. РАБОТА

Пришел Леонид Павлович к своему редактору и сказал:

— Фрол, хватит бедно жить — хочу жить богато.

— Счастье в руках человека, — многозначительно переврал древнего грека редактор. — Разъездным хочешь?

— Да.

— Кровь из носу, но чтоб в каждый номер два-три курьеза.

Взорлил Леонид Павлович. Освободившись от тягучей редакторской рутины, он сел и сразу написал двести курьезов. Пятьдесят пошли в ближайшие номера. Остальные разбросал по различным изданиям. В корзину — один. Еще один курьез — положил в стол: он слишком обогнал свое время и печатать его не решались.

Ну, от такой удачи любая голова, закружится. В сберкассе принимали Леонида Павловича как родного. Только что заведенная книжка жирела и пухла на глазах. Со всего Шелапутина протянулись к ней извилистые гонорарные струи. Леонид Павлович попал под такой денежный душ, какой ему и не снился. Он счастливо фыркал, судорожно омывал истощавшее тело и, повизгивая, плескался направо-налево. «Что наша жизнь?» — голосил Леонид Павлович. И, выкидывая очередную горсть банковских билетов, удало отвечал теперь — «Игра!» Да, он играл и выкобенивался безбожно. Бриться? Счас! Он летит на полдня в Ленинград и возвращается благоухающим триумфатором. Оля? Какая? Ах, Архипкина — из кордебалета? Два билета в Сочи, и через два выходных она уже виснет на его поджаренной шее, спускаясь вместе с ним по трапу в шелапутинском аэропорту.

Ну, а квартира-то, Леонид Павлович, квартира? На кой? И действительно, жилищная проблема совсем отпала. У себя он почти не бывал. А когда наезжал, то являлся среди соседей с шампанским и кипой своих трудов. Соседи балдели. Весь подъезд был обеспечен Сименоном и «Королевой Марго» исключительно на макулатуру Леонида Павловича. Да и что стоило ему сесть еще разок и написать новых 200 курьезов. В общем, фортуна повернулась лицом, и он заставил ее улыбаться.

Долго ли, коротко, но гонорарный ливень исчах. Уже и редактор дергал его за фалды. Тра-ля-ля! Леонид Павлович закатил свой последний бал и, тем самым, окончательно сорвав зло на горемычное прошлое, приступил к работе.

Перед ним лежал чистый лист бумаги. Прошел день, другой. Бумага лежала, он сидел. Они смотрели друг на друга и не находили общего языка. «Как ты смеешь?» — стучал он по столу. Бумага молчала. Он изменил тактику. «Ну чем тебе не нравится

курьез № 201?» — ворковал Леонид Павлович. — ««Трудовой подвиг профессора на овощебазе» — это шедевр!» — Бумага не покорялась. — «А № 202? Смотри: «Буфет — за качество!» Ну, хорошо, пока это для тебя сложно. Может быть портрет? «Рядовой рынка, коммунист Зураб Гогоберидзе»? Ах ты, привереда, ну так и быть — № 318 «Овцематка на кафедре». А? Каково?» Леонид Павлович стремительно выводил заголовки, тыкал ручкой в бумагу, но она не поддавалась. Как ни бился, сколько ни изводил бумаги — напрасно. Его разухабистое перо не родило ни строчки.

Выручил Фрол, редактор: «Старик, у тебя кризис. Дуй-ка ты за фактурой». Леонид Павлович тут же улетел в командировку. «Исписался», — скрежетал он. Но то была добрая злость. Надо набираться впечатлений. А жизнь сулила немало курьезов.

В первом же пункте командировочного назначения он обнаружил тот поразительный факт, что одна из групп детского садика «Им. XXV съезда» не имеет программы борьбы за качество. В другом городе попалась коммунальная квартира, где начисто отсутствовал уголок технического творчества. Наконец, во что было просто невозможно поверить, нашелся человек, который забыл, видите ли, подписаться на «Шелапутинские курьезы». Да, старушка. Да, недвижимая. Но куда смотрит домовой комитет? Где были эти шалопаи-тимуровцы? Леонид Павлович исписывал блокнот за блокнотом и только диву давался. Действительность кишела курьезами. Как червями, в доброй, нетронутой навозной куче. Рыская от края до края (нужна была география), Леонид Павловия копал и копал. Он был не лыком шит. По каждому курьезу он раскапывал такие глубокие корни, что закрывая блокнот, сам же и ахал. Нет, теперь он поведет разговор с читателем не на шутку. Публицистическая страсть вскипала в нем с неимоверной силой. Благородная дрожь извилин взболтала, расковала мозги. Леонид Павлович чувствовал, как наливается нечеловеческой мощью, и видел уже, как искрит, барабанит его вдохновенное слово на страницах «Шелапутинских курьезов», и чувство нового успеха, новой славы распаляло его еще больше. Верно, верно сказано: теория, мой друг, суха. Зато, как буйно зеленеет древо жизни. Леонид Павлович с жадностью общипывал это. древо, и возвратился, будто с чайных плантаций, — подол его был полон фактуры.

На этот раз отписываться он не спешил. Ни грамма халтуры! Он вступил в мир большой, настоящей журналистики и не хотел, чтобы избранные тома его сочинений уступали избранным томам великого Треньбалалайкина или гениального Оглоедова. За два дня он написал всего 50 курьезов. Но что это были за курьезы! Пальчики оближешь! Добавилось то, чего в творчестве Леонида

Павловича раньше не было, — анализ.

Нет слов, группа детского садика «Имени XXV съезда» виновата. Ремень их не минует. Но вот вопрос: почему другие группы имеют программу борьбы за качество, а эта нет? В результате тонких умозаключений Леонид Павлович приходит к выводу: есть на то и объективная причина. Заведующий детсадом — пьянь и женолюб. Не заложи заведующий лишнего, не соврати по пьянке воспитательницу, разве распустилась бы она до такой степени?

А уголок технического творчества? Чем та квартира хуже других? Ничем. Так откуда ж безалаберность жильцов? Почему они позволяют себе то, чего никто другой не посмеет? Опять-таки объективная причина: участковый был лизоблюд. Любил фаршированную щуку, а лучше, чем в той квартире, ее никто не готовил. Ясно: бить надо в обе щеки — и жильцов и участкового.

Открытие Леонида Павловича изменило канонические представления о журналистике. Новаторский метод имел далеко идущие последствия. Он орудовал объективной причиной, как штыком. Курьезы приобрели глубину, на дне которой голубовато мерцала истина. Да, в каждом, как в драгоценном флаконе, пламенела страсть и мерцала истина. Небритый, изъеденный трудами, Леонид Павлович был счастлив. К редактору шел не спеша, с сознанием исполненного долга перед человечеством. Отдал портфель, как бомбу подложил. И с замиранием сердца ждал. Ждал взрыва.

Через неделю он снова был в редакции. Секретарша, как обычно, варила кофе и лукаво мурлыкала встречным и поперечным.

— У себя? — спросил Леонид Павлович и толкнул дверь. Фрол сидел как ни в чем не бывало.

— Что-то, старик, жидковато на сей раз, — зевнул Фрол.

Леонид Павлович онемел.

— 10 курьезов запустим, а 40 — возьми.

Леонид Павлович молчал.

— Эти 10 тоже так себе. Но я переписал, — устало улыбнулся Фрол.

— Покажи, — выдавил, наконец, Леонид Павлович.

Первое, что он увидел, был отредактированный материал о той старушке-неподписчице.

— Пойдет в 16 номер, — заметил Фрол.

Материал назывался «В гробину бабку мать».

— При чем тут бабка, — взревел Леонид Павлович, — а где домком, где тимуровцы? Где объективная причина? Куда ты ее дел?

— Выбросил. Это неинтересно.

— Кому неинтересно?

— Читателю.

— Да ты ведь душу вынул! Коллизию! Кому нужна твоя беззубая бодяга. Мне о том домуправе все уши прожужжали! Дерьмо, а не домуправ! Гнать давно надо.

— Домуправа трогать нельзя. Тимуровцев тоже.

— Почему?

— По кочану.

Леонид Павлович хлопнул дверью. Его басовитые, рыкающие курьезы после редакторской кастрации — пищали. Тонкий омерзительный писк стоял в ушах. Отдавало крысиным пометом. Это все, что осталось от пламенеющей страсти и мерцающей истины. Нет, с таким редактором не воспаришь до Треньбалалайкина. Тут просто совесть замучит. И куда девать остальные курьезы? Коту под хвост? Леонид Павлович остановил первую попавшуюся жилетку и расхныкался.

Жилетка осмотрелась. Закурили.

— Старик, опустись на землю, — сказала жилетка. — ты забыл главное. Мистификация — вот основной принцип нашей работы.

— Но бабушка... Жалко старушку, — ныл Леонид Павлович.

— Немного мистификации и ты поймешь, что бабушка сама виновата. Встань на голову и перепиши этот курьез пальцами правой ноги.

— В ногах правды нет и нет объективной причины.

— Чур тебя! Ты что — опупел! Объективная причина — это далеко идущие последствия. Мы не на том стоим.

— На головах? — съехидничал Леонид Павлович.

Жилетку как ветром сдуло.

С той поры при одной мысли о «Шелапутинских курьезах» Леонида Павловича тошнило. Но надо жить дальше. А как? Курьезы — везде курьезы и меч мистификации домоклово висит в каждой редакции Между тем, гонораров едва хватало на прокорм. А квартира, боже мой, квартира-то. Уныние Леонида Павловича перекинулось и на соседей. Хозяин его смотрел сначала выжидательно. Потом иронически. Теперь снова начал капризничать. Какое шампанское — за комнату платить было нечем. Со дня на день ждал Леонид Павлович приговора и, наконец, отчаялся. «Оборона — смерть вооруженного восстания», — вспомнил Леонид Павлович и перешел в наступление.

Перерыл весь свой архив. Извлек десяток-другой опубликованных курьезов. С тем и пришел в издательство. Предложение было принято. Договор подписан. Особенно

привлекала многозначительная приписка к нему: «Издательство обязуется обеспечить при заключении договора на использование произведения за рубежом охрану личных прав и имущественных интересов Автора». Значит, в родном городе его и подавно не дадут в обиду. Книга намечалась на всегда актуальную для Шелапутина тему — о тараканьих бегах. Леонид Павлович тут же придумал название: «Догоним и перегоним», — тема была знакомая. «Последний раз, — твердил себе Леонид Павлович. — Только бы встать на ноги. Только б очухаться». Да, это был реальный шанс. Квартира брезжила.

Сколотив из старых курьезов каркас книги, он оросил ее остатками мистификации. Выдавил все, что у него еще оставалось. Отдал последнюю дань чудовищной поре своего творчества. И гора с плеч. На душе стало легко и чисто. Леонид Павлович вымыл руки. Осмотрел свое произведение. Оно походило на свеже-оструганный гробик. Леонид Павлович торжественно понес этот гробик на кладб..., тьфу, черт! — в издательство. Но что такое? Только вышел из подъезда — захлопали крылья. Десятки голубей снялись с подоконников и стаей ринулись прочь. Из помойки выскочили мыши. Воробьи подняли ужасный гвалт и, нахохлившись, сбились в кучу. Ступил на тротуар — шарахнулись прохожие. Раздался милицейский свисток. Пути Леониду Павловичу не было. Он постоял, подумал. Домой вернулся крайне озадаченный. Поставил свое произведение на стол. Оглядел, «что же это такое? — бурчал Леонид Павлович, — вот за рубежом обещают охрану, а тут?» Тут его осенило. Он распаковал гробик, брезгливо, двумя пальцами, вынул оттуда две особенно дурно пахнущие главы. Осторожно снес в туалет. Долго спускал воду. Зияющие дыры произведения запломбировал свежими курьезами. В командировках он не избежал актуальной темы тараканьих бегов, но описал их по-новому. Эти курьезы были свежи и не пошлы. Там был анализ. Гробик выглядел веселее. С таким на улице пропускали. В издательстве были вне себя от радости.

— Вот, — сказал самый главный, — кто может достойно писать о тараканьих бегах.

Рука автора кокетливо трепыхалась в рукопожатиях.

Через полгода Леонид Павлович дал о себе знать. Бодрый, приветливые голос успокоил: «Немного терпения, совсем немного». Действительно, прошло еще полгода и его вызывают в издательство. «Запустили в производство» — догадался Леонид Павлович и блаженное тепло растеклось по истомленному ожиданием телу. Ему причиталась кругленькая сумма. По такому случаю купил второй портмоне — оба для сторублевок. Для

прочих купюр прихватил баул. Вмиг он был у издателя.

... Ну, дернул же черт ехать в эту командировку. Опять все испортили новые курьезы. На рукопись «Догоним и перегоним» пришла грозная рецензия, в которой Леонид Павлович обвинялся в опасных заблуждениях по поводу объективной причины. «Это привело автора к грубым ошибкам, извращающим счастливое настоящее и светлое будущее тараканьих бегов. При наличии таковых, публикация книги возможной не представляется» — был приговор. На двух главах стояли решительные красные кресты. Леонид Павлович схватился за голову. «Ну что вам стоит, Леонид Павлович? — успокаивал издатель. — Выкиньте объективную причину. Где был минус, поставьте плюс. Где был плюс, поставьте минус. Такие, право, пустяки». Но бедный Леонид Павлович понимал: дело не в этом. «Голуби, мыши, милиция...» — бормотал он. Надежды рухнули. Он шел, волоча пустой баул, по весенней грязи. Шел никуда. Из рваного кармана пальто выпал последний двугривенный, прокатился по обочине и плюхнулся в жижу. Леонид Павлович даже не обернулся. Квартиру на него не купишь.

3. ДРУЗЬЯ

А куда денешься? Кто поймет? Посоветует? Только друзья и хорошие знакомые. Друзей у Леонида Павловича было, наверное, тыща. Други его бесшабашных праздников, все они вкусили когда-то сладость его гонорарных дождей. Нельзя сказать, что и от них не перепадало. Денег, правда, — так, чтобы пришел и всегда были, — не было. Тут — дети, там — груз двойных, тройных алиментов. Этот проедался в ресторанах, тот — бессеребреник. Один пробивался вермишелью — из-за машины, другой — просто нигде не работал. Но уж когда перепадал ломоть — не скупились. Во всяком случае, в каверзную минуту Леонид Павлович мог найти и стол, и приют, и сочувствие. Все одного поля ягода. Больше по пишущей и ученой части. Техников Леонид Павлович не терпел — отдавало железкой. С начальниками не водился — острая аллергия на спесь. Дундуков не держал. Короче, было к кому постучаться и на этот раз. Однако на этот раз Леонид Павлович был не тот. Бацилла объективной причины поразила неизлечимо. Он нес инфекцию и искал спасения.

— Демагог! — отрезал Димка. Кто, кто, а опытный Димка, ведущий сотрудник журнала «Непрободенная плева», знал, что от объективной причины добра не жди.

Пошли они пить пиво. Полдня топтали снег в очереди. Стояли. Молчали. А уж как намерзлись, наждались — какая там объективная причина — полжизни за кружку пива. И когда сели за стол, расправили смерзшиеся кости — воскрес Леонид Павлович: «Забористый табак, да пенистое пиво, да девушка-краса — чего еще желать!»

Девушка-краса в замызганном фартуке спешила к ним с графинами. Сегодня в баре было как-то особенно хорошо. Недолив был божеский. Из окон почти не дуло. И была редкая гостья пивных застолий — вобла. Правда, с приложением — рыбное ассорти с икрой. Так просто воблу не отпускали.

Зал гудел и хрумкал косточками. Интеллигенты беседовали. «Кто, говоришь, столица Татарии?» — слышалось с соседнего стола. «Башкирия», — отвечали. «Нет, это Татария — столица Башкирии». Разгорался умный, товарищеский спор.

— Давай, Леня, детективы писать, — посасывая вяленый плавничок, предложил Димка. — Чем мы хуже Вайнеров. Тут был случай. Директор столовой закатил дочери свадьбу. На миллион. Жениху алмаз подарил — с куриное яйцо. А жених оказался наш человек — из ОБХСС. Как сюжетец?

— Дух захватывает.

— Отнесем в «Отрок». Не платят — озолачивают.

— Купим квартиру.

— Будем грести гонорары.

Друзья разогрелись. Крылья воображения уносили их все дальше и дальше от забот, от дефицитной воблы, от разбавленного пива — туда, где на заоблачных подушках сияла вечной улыбкой белозубая радость.

Димкиных аргументов хватило только на вечер. Пошел Леонид Павлович искать совета дальше. Позвонил Крылатову, больше известному под кличкой Перекати-поле. И очутился на даче.

Зимний лес мохнато приветствовал громогласную компанию. Разыграв у калитки двухэтажного особнячка, кому «соображать» и ставить самовар, остальные рассыпались по лесу. Скрипели лыжи. Вдруг Крылатов стукнул палкой по молодой сосенке и она, сбросив белую шубу, накинула ее на Леонида Павловича. «Ну, заяц, погоди!» — закричал он восторженно и бросился вдогонку. Крылатов улепетывал что было сил. Лыжня петляла. Леонид Павлович бросался наперерез. Тонул в сугробах. Но только он приближался — Крылатов оттягивал смолистую ветку и хлестко останавливал преследователя. Пока Леонид Павлович искал в снегу сбитую шапку, Крылатов исчезал за поворотом. Выскочили на Белую горку. Крылатов, не раздумывая, бросился вниз. Леонид

Павлович за ним. Обоих подкосил трамплин. Друзья покатились кубарем. Через секунду Леонид Павлович оседлал Крылатова и снегом за шиворот «освежал» его, приговаривая: «Остынь, зайчик, остудись». Крылатов верещал и дергался лыжей.

Назад шли спокойнее. Мутное солнце нехотя плыло следом. От нечего делать оно косило холодное бельмо на приятелей и прислушивалось к разговору.

— Иди и радуйся, — говорил Крылатов.

— А хорошо, правда, — соглашался Леонид Павлович, тыльной стороной перчатки отирая мокрые брови. Потное, горячее тело исходило паром. Дышалось глубоко и свободно. Посвежевшие мышцы гудели. Белым-бело. Лес, голубые березы — и нет ничего прекраснее в этом мире.

— Вот это — жизнь! — наставлял Крылатов. — Остальное — мура. Работа — чтобы жить, а не наоборот. Когда это поймешь, станешь человеком, пока ты — раб.

— Работать тоже надо.

— А я что говорю. Машину, дачу никто не подарит.

— Чем-то и людям надо быть полезным.

— Торгуй пивом — убьешь двух зайцев.

— Я журналист.

— Ой ты! Ну и пиши на здоровье.

— Не печатают.

— Значит лопух ты, а не журналист.

Добрались до места. Вечерело. За соседней оградой заливалась дворняга. Дым над крылатовской дачей сливался с темнеющим небом. Мокрое тело пробивала неприятная дрожь. Отстегнув крепления, наскоро протерев лыжи, вошли в темную прихожую. Тут же распахнулась дверь, и в световом проеме выросла сияющая Зинка: «Братцы! Пропащие пришли!» «Штрафника, штрафника!» — скандировали за самоваром. Навстречу двигался Лев с бутылкой и стаканом. Леонид Павлович выпил и первое, что он увидел своими прослезившимися глазами, были — глаза. Огромные, смеющиеся, с зелеными льдинками вокруг многообещающих зрачков. И вся хворь его, все, что саднило и грызло споткнувшееся сердце, улетучилось в эти бездонные черные дары, и зеленая карусель зинкиных глаз закружила его в бесшабашном веселье...

Утром садились на электричку. Толпа подхватила дачников и вмяла в переполненный вагон. Леонид Павлович висел на плече Крылатова, пытаясь хоть одной ногой дотянуться до пола. «В тесноте да не обидят», — сучил локтями шустрый мужичок в сдвинутой на бок шапке. Так и ехали.

— Ты, говорят, опять нигде не работаешь, — расщемил

запекшиеся губы Леонид Павлович.

— Некогда, — ответил Крылатов.

— Что некогда, — не понял Леонид Павлович.

— Работать некогда — дел много. На зряплату не проживешь, — беспечно улыбнулся Крылатов.

... В полной растерянности Леонид Павлович незаметно для себя оказался в библиотеке. Заходит в читалку — ба! — кого он видит. В углу под высокими стеллажами горбится Толик. Он сидел меж двумя стопками книг и наяривал ручкой, исписывая лист за листом. Толик был известен как человек серьезный и думающий. «Вот кто мне нужен!» — обрадовался Леонид Павлович. Осторожно скрипя половицами, он пробирался через капустные грядки читательских голов в дальний угол. Зашел со спины. Кашлянул. Толик моментально захлопнул книгу и резко обернулся. «Хо, батенька», — просветлел он, убирая руку с заглавия «Богословских трудов».

— Эк, куда занесло, — кивнул головой Леонид Павлович.

— Подлинная наука, батенька, — шепнул Толик.

Леонид Павлович открыл книгу. Она заговорила странно. «Эти два полюса и соответствуют: первый — сообразованию тела весу своему, отчего отщепляется личина; второй — преобразованию, можно добавить, «по веку будущему», и тогда начинает светиться из тела лик». В тумане таинственных слов почудилось вдруг спасение. И можно ли говорить иначе, если речь идет о самом главном? Что дают разлинованные прописи шелапутинских авторов? Они слишком все знают наперед. Не жизнь, а дом отдыха. И пути наши — аллеи с песочком и на каждом перекрестке, рядом с ампирными плевательницами, четкие указатели куда идти, как быть. В этой книге не так. Никаких указателей. Слово легким эфиром сочилось в заблудшую душу. Книга дышала мудростью и откровением.

— Дай почитать, — сказал Леонид Павлович, спускаясь по лестнице.

— Тебе-то зачем? — удивился Толик.

— Понадобилось.

В курилке они были одни. Смущенные тени, шмыгавшие в дамскую комнату не мешали. Посетители мужской комнаты не задерживались. Случалось, кто-нибудь зажигал сигарету. После двух-трех затяжек мял и уходил.

— Не будет тебе здесь жизни, батенька. Надо улепетывать, — говорил Толик. Леонид Павлович жег сигарету за сигаретой. Пепел оседал на брюки. Положение казалось не таким уж безысходным, он ждал, что скажет, что посоветует Толик.

— Бросай все и уезжай в Кардонвиль.

— Кому я там нужен: ни языка, ни ремесла, — с надеждой упрямится Леонид Павлович.

— Это наживное. Учи язык.

Леонид Павлович оглядел скромный костюмчик Толика, фланелевую рубашку в застиранную клеточку. Толик упорно долбил кордонвильский язык и откладывал деньги. Леонид Павлович догадливо поинтересовался:

— А сам-то как?

— Да так же, — загадочно улыбнулся Толик.

Да, это был выход. К черту Шелапутин со всеми его продажными курьезами! Свет большой. И, слава богу, есть еще место для объективной причины. Есть место, где можно дать честный творческий бой. Леонид Павлович воодушевился. Была не была. Терять нечего. Но шевелился еще маленький червячок сомнения.

— С чем туда сунешься? Ведь все чужое.

— Что роднее — сам решай. И запомни, как сказано: «И не сообразуйтеся веку своему, но преобразуйтеся обновлением ума вашего».

Взбодрился Леонид Павлович. Беспокоило лишь чувство беспомощности в чужом городе. Ведь и так могло получиться: ни жизни, ни работы там. Лишний рот — везде лишний. Как подстраховаться? Кто защитит? «Женщина!» — осенило Леонида Павловича. Кто же еще, если не многоопытная кардонвильская возлюбленная? И так все здорово получалось в уме, так ловко увязывались концы с концами, что Леонид Павлович решил не медлить. Есть такой хороший человек — Василий. Он поможет. Василий всегда поможет. Кому крышка или беда какая, кому надо чего-нибудь — идут к Василию. Ничего для себя — все людям. Редкий человек Василий, и Леонид Павлович вспомнил о нем очень кстати.

Зима стояла нынче хлипкая, нервная. То приударит — хоть шапку на бороде завязывай, то развезет — и снег чернеет в последних судорогах. Сегодня таяло. Торжествующее солнце добивало зиму по углам и норам. Весна ломилась в Шелапутин, и Леонид Павлович приветствовал ее трелью. «Фью-фью!» — заливался он птахой, виртуозно огибая края бесконечных луж. Он то ропился. «Нет, Василий, не заменим», — сладко жмурился Леонид Павлович. «Кардонвилечку? Почему одну? Ха-ха! Хочешь десять — на выбор? Ну есть, понял, старик. Такая аспиранточка имеется — зубами оторвет», — в этом весь Василий. Ничего невозможного. Лужи набрасывались на Леонида Павловича. По спине стекали шоколадные узоры. Но ничто сейчас не остановит взорлившего кабальеро. Он торопился. На вечер назначены какие-

то именины. Будет кардонвилька. И будет решена его участь. А надо еще поспеть к Сане. К милому его сердцу Сане, которого он не видел сто лет.

Саня сидел на острие двух ножей в обычной своей позе: ноги на шее. Глаза остекленели. С большого пальца — трудно было понять какой ноги, — на Леонида Павловича уставился, шевеля усами, желтый таракан. Леонид Павлович топнул, и таракан юркнул в сложный узел, сплетенный из саниных конечностей. «Ну дает!» — не удержался Леонид Павлович. Кто его изумил: Саня или таракан — понять было трудно. Вряд ли Саня. К этому йогу он давно привык, и когда заставал его на голове или в такой вот позе — уходил в другую комнату. Тревожить было нельзя. Леонид Павлович взял две пятилитровые банки и пошел за пивом. Вернулся тяжело кряхтя. Из кармана пальто торчал «огнетушитель» — портвейн № 13. Саня, уже одетый, встретил его мягкой улыбкой.

— Кончил выёгиваться? — шутил Леонид Павлович, гремя банками.

— Когда ты-то начнешь? — парировал Саня. Он выпростал карман Леонида Павловича. У горла «огнетушителя» сверкнул нож: «Вскрыть пакет генерального штаба», — приказал Саня и самолично привел свой приказ в исполнение.

Любил Леонид Павлович Саню. За силу духа. За самообладание. Знал за ним только две слабости: вино и теща. Теща часто наезжала к ним, жила подолгу. Это значит, что дома Саню почти не видели. Друг и большой знаток непризнанных гениев, он особенно выделял художников. Мастерская одного из них, когда тот стал признанным и получил другую мастерскую — в центре, временно отошла к Сане. Жил он на переводах с кардонвильского.

— Чё не закусываешь? — пододвинул Леонид Павлович плавленный сырок с хрустящим хлебцем. Саня покачал головой:

— Пост.

Да, Саня был настоящим йогом. Два раза в месяц — перед авансом и получкой — он регулярно голодал. И еще — две недели в году: вторую половину отпуска. Извлекал двойную выгоду: креп духом и телом, а заодно сводил короткие концы с концами.

— Я, Саня, в Кардонвиль собрался, — признался после второго стакана Леонид Павлович.

— У тебя, брат, с пищеварением плохо.

Саня всегда ставил только один диагноз и никогда не ошибался. От всех болезней выписывал один рецепт: «Голодай и пей кипяченую воду». Ни чай, ни, боже упаси, молоко или кофе —

только воду. Лекарств не признавал и другим не советовал. Раз не повезло ему с одной нездоровой женщиной, Саня ничуть не смутился. Десять дней без единой крошки, одна вода — и стал, как новенький. Почему другие не голодают? Отчего люди такие бестолочи? Этого Саня понять не мог. И корил Леонида Павловича жестоко.

— Ты хоть «здрасьте» по ихнему знаешь?

— Там научат, — не сдавался Леонид Павлович.

— Там, там. Вот где надо искать, — стучал по голове Саня, — а не там. Тщета и всяческая суета. Здесь — там: какая разница?

Поругавшись, принялись за пиво. Саня подобрел. Пропадал Леонид Павлович, пропадал. И жаль было Сане терять такого собутыльника.

— Как ты думаешь, в чем смысл жизни?

— По-моему, в самовыражении, — серьезно ответил Леонид Павлович.

— Себя что ли выражать?

— Себя.

— А знаешь ты себя?

— Вот и узнаю.

— Нет, брат, ты сначала себя познай. Ты радость на стороне ищешь? Много нашел? И не найдешь, потому что не там ищешь.

Саня был спокоен. Отпил из переполненного стакана. Захлопнул форточку — дуло.

— Радость внутри нас, — сказал он убежденно. — Почему мне хорошо, а тебе плохо? Я ничего не ищу — ты вечно в бегах. От себя не убежишь. Душит тебя сорняк, Леня.

— Что же ты предлагаешь?

— Голодай и пей кипяченую воду.

Саня не шутил. Это был первой шаг к самообладанию — к тому, чего так нехватало Леониду Павловичу. Соберись он духом, сделай этот шаг, и Саня привел бы друга ко второй ступени — самосозерцанию. И тогда самому Леониду Павловичу открылись бы язвы и гниль души. Как излечиться — Саня подскажет. Так взошел бы Леонид Павлович на третью и последнюю ступень бытия — самосовершенствование. В этой работе углубленного в себя духа нет границ. В ней — подлинная радость. Душевное здоровье и равновесие. Внутренняя активность вместо пустой — внешней. Не переделав себя — мир не переделаешь.

Хорошо рассиделись. Саня обнажал редкие зубы, ерошил черную липкую челку — убеждал. Гипноз его темных искрящихся глаз действовал неотразимо. И было бы все прекрасно, если б не время. Леонид Павлович хватился часов, и санины чары как рукой сняло. Он опаздывал.

Именины — чьи именно, никто не знал, — отмечались в большом многоквартирном доме на другом конце города. Такси. Звонок в дверь. Открыла моложавая женщина. Сзади сияли круглые щеки Василия. «Проси у Ларисы прощения. На колени!» — командовал Василий, втаскивая опоздавшего. Леонид Павлович бухнулся на колени, представился. «Ну что вы, что вы, — щебетала хозяйка, раздевая Леонида Павловича. — Я буду звать вас Леня».

— Лучше Лёлик, — куражился Василий.

— Лёлик! Как здорово, хи-хи. У нас сегодня такой интим, такой интим. Вы можете варить мясо?

Леонид Павлович мог все, кроме одного — перевести дыхание. Но, как ни тужился, терпкий пивной дух уже расползался по коридору.

— Набрался, — дрогнул ноздрями Василий.

— От настоящих мужчин всегда так пахнет, — заступалась Лариса.

Вошли в комнату. В сумраке торшера стоял низкий столик, за ним — двое. В офицере Леонид Павлович узнал приятеля — кавалериста Володю. Женщину звали Лициния. Она была высокой и элегантной. Держалась просто, но что-то этакое угадывалось в ней, и Леонида Павловича коснулся сладкий плен кардонвильского обаяния. Однако держался с достоинством. Как сын великого шелапутинского народа он был не только лыком шит.

— В вашем имени, мадам, много света, — взыграл Леонид Павлович. Лициния рдела.

Пили водку. Накладывали друг другу салаты. За светской беседой Леонид Павлович учил Лицинию закусывать огурцом.

— Ты, главное, не дыши, — интим так интим, они перешли на ты. Хлобысь! и сразу огурчиком: хрум, хрум. Теперь ферштейн?

— Корошо, — кивала она, — хрум, хрум.

Леонид Павлович наливал очередную рюмку. Лициния красными ноготочками стискивала свой носик и, зажмурившись, долго цедила водку. «Пей до дна! Пей до дна!» — горланила компания. Лициния отрывала бокал и из ошалелых глаз прыскали во все стороны кругленькие слезки. Лициния верещала. Леонид Павлович вталкивал ей огурец. Урок повторялся.

Грянула музыка. В полутьме заскользили фигуры. На каком-то особенно душещипательном танго Леонид Павлович поцеловал Лицинию. Она ответила тягучим косметическим поцелуем. Руки его лежали на ее спине. Он обнимал ее все ниже и ниже, пока не дошел до места, где обхватить ее было уже невозможно, но и

оторваться тоже нельзя. Широкие бедра мягко качались в его ладонях, и в темном углу, у окна. Лициния замерла и упруго прижалась к нему. Леонид Павлович отозвался нескромной лаской. Лициния ответила тем же. За столом кричали: «Шейк, сударики, шейк!» Магнитофон свирепствовал. Немыслимые ритмы подхватили Лицинию. Она уже извивалась и дергалась с Василием. Кавалерист бросал с руки на руку Ларису. Леонид Павлович сел за стол и вдруг отяжелел. Пол дыбился. Стены раскачивались, как шторы. Барабанная дробь влетала картечью в уши и рвала мозги. Кто-то потянул его за руку. Он встал, пошел. Долго шел. Видит — поляна. На березе сидит Лициния манит его. Он, конечно, обрадовался. Но вида не подал, шагает с достоинством. Лициния что-то кричала. «Ленья!» — донеслось до него. И такое тепло всколыхнуло кровь, такое счастье обдало Леонида Павловича — он побежал к Лицинии. Откуда ни возьмись — собачка. Р-р-гав-гав! Беленькие зубки ощерены, глазенки презлющие. Так и норовит за штанину. Он — к березе, она — наперерез. Он — пнёт, она — за ногу. «Объективная причина» — узнал Леонид Павлович собачку. Еще рывок. Но собачка вдруг выросла в страшного зверя, и все заслонила слюнявая пасть.

«Ленья!» Леонид Павлович очнулся. Длинные пальцы Лицинии, скользя по его щеке, легонько толкали его. Тихо играла музыка. Кардонвильские краски поблекли. Перед ним немо смеялось безоружное бабье лицо, и серые глаза на широкой кости удивительно напоминали пуговицы солдатских кальсон Леонид Павлович улыбнулся. «Идем, Ленья», — теребила Лициния. Подниматься не было ни силы, ни охоты. Из тьмы вынырнула чья-то рука и, больно ущипнув за ухо, прошипела: «Пошел вон, сука!» Леонид Павлович выскочил из-за стола. В высокой мелодии Василий уводил в круг Лицинию.

Домой возвращался трезвый и одинокий. Душила обида. Внезапные заморозки сковали ночные улицы. Мстительный оскал зимы распугал все живое. Лишь таинственный стон да хруст под ногами удаляющейся фигуры нарушал эту страшную, леденящую душу тишь.

4. ЛЮБОВЬ

На самом деле влюбился иль померещилось в отчаяньи, но сделал он ей предложение. Надо заметить, что Леонид Павлович к тому времени несколько опустился. Сильно запил. На службу являлся редко. Дыхнет пару раз перегаром — и был таков. Чуть

только продерет глаза — а вставал он теперь поздно и неохотно — сразу мысль: «Что на сегодня?» И если ничего не было, тут же изобретал, что должно быть. Даже не так: как и с кем? Что должно быть — он знал: вино. Ну, женщины. Понятно, что на такое дело охотников невпроворот. И потому долго не думал Леонид Павлович. Ни о какой работе не могло быть и речи. К книжкам не прикасался. Разве что — к записным. Эти он, правда, читал и перечитывал. Особенно под вечер, когда ему было уже хорошо, а он хотел, чтоб было еще лучше. Она-то, страсть эта, его и подвела.

Выпивали они с Димой в агитпункте. Дима дежурил, а Леонид Павлович вроде как сочувствующий избиратель. Хорошо выпили. Вся стена в этикетках. Один бегает бутылки мочит. Другой — приклеивает. И наоборот: один приклеивает, другой — мочит. Не сидеть же в агитпункте сложа руки. Так и трудились бы они в рамках предвыборной кампании, да вышла заминка: кончился портвейн. Бросили монету — кому идти, стали скрести по карманам. И тут показалось Леониду Павловичу, что в комнате — третий. Он живо осмотрелся, и взгляд остановился на телефоне. Телефон вел себя странно. Он страшно дулся и десять цифр в упор расстреливали Леонида Павловича.

— Дима, а нас кто-то ищет, — показал он на телефон.

— Уж не Валька-ли?

Леонид Павлович ткнул пальцем в семь телефонных глазниц и пошел в магазин. Вернулся с тряпичной дамской авоськой. Впереди прыгала Валька. Как дружно-весело заспорилась работа с Валькой! Теперь двое отмачивали этикетки, а один едва поспевал — наклеивал. Валька не наклеивала, только отмачивала. Друзья по очереди помогали ей. Один помочит, помочит, — приходит и руки трет: «Валя — крем-брюле».

— Неужели? — искренне удивляется другой.

— Поди проверь.

Тот идет. Через полчаса заявляет:

— Нет, Валя — пломбирчик.

— Не может быть! — изумляется другой и бежит отмачивать этикетки.

— Нет — крем-брюле!

— Нет — пломбирчик!

Дискуссия эта продолжалась довольно долго. И Леониду Павловичу надоело. Как ни заливал вином, как ни замызгивал шашнями, а все же проступила боль. Ушел в другую комнату. Сел в темноте и задумался. Все, чем ни терзался в последнее время Леонид Павлович, что ни давило, ни ломало его — все выплавилось в эту тихую, саднящую боль. И была эта боль в виде

маленькой девочки. Она грызла сахар и спрашивала: «Не ты мой папа?» Впервые укололо Леонида Павловича, когда дед принес кипу фотографий и оттуда на него посмотрели родные глаза. «Не ты мой папа?» — спросили они, а он не знал, что ответить. Он кинулся тогда к телефону, набрал номер жены и спросил, есть ли отец у его дочери. Отца не было. «А я-то кто?» «Ей нужен настоящий отец». Потом добавила:

— Хорошо, приходи, но не говори, что ты папа.

Леонид Павлович остервенело бросил трубку. Еще один дядя ребенку не нужен. Нужен отец. Отцу нужна его дочь. Но что могло соединить их? Между ними стояли капризы бывшей жены и черная месть ее родителей. Звонок родителям.

— Ну какой ты отец? — ответили.

— Я буду навещать ее.

— Нет ты сойдись с Верой.

— Это невозможно.

Да что говорить: пошло трещать — все швы расползаются. И не вытащишь эту боль. Ничто не берет — ни вино, ни женщины. И деться некуда. Затравленно, тоскливо сидел Леонид Павлович в темной комнате. И так захотелось тепла, так занемог он вдруг по чуткому милому сердцу, такой нестерпимой показалась его беспутная жизнь, а положение — таким безвыходным, что он — решился.

— Пойдешь замуж? — спросил он по телефону.

— Непременно, — смеялась Ирина. Она почему-то все время смеялась. Ее так и звали: форсунка-выбражала.

Иру он знал с лета. С того самого дня, когда вышел на веранду колхозного барака, олицетворявшего смычку города и деревни, и наткнулся на симпатичную брюнетку из новеньких. Их группа только что сменила своих коллег, те даже не успели уехать, у крыльца еще пыхтел автобус, эти новые уже умывались с дороги, распаковывали чемоданы — осваивались. Чуть склонив голову девушка заплетала черные, редкой красоты волосы.

— Вы из сказки, да? — лихо подрулил Леонид Павлович.

— Нет, я всамделишная, — засмеялась брюнетка.

Почему-то заговорили о норвежских художниках, потом познакомились. Вечером прошлись под звездами. Первое сю-сю-сю. Первый поцелуй. С реки тянуло прохладой. Подбитая коровами, трава на лугу сырела.

Так случилось, что это была первая и последняя интимная встреча Леонида Павловича с Ириной. Через день ребята варили «глинтвейн» — взрывчатую смесь гамзы, портвейна, рома, яблок — всего намешали. Из теплиц наворовали огурцов. Картошки было вдоволь, одна к одной, — сами грузили, сами же отбирали.

Закатывалось доброе деревенское застолье.

Начали с шумных восторгов по поводу действительно неплохого «глинтвейна». Сидели на деревянных скамьях за длинным, заставленным столом. Ирина — рядом с Леонидом Павловичем. Других женщин не было, и с первым ударом в горячие головы, она завладела общим вниманием. Стройненькая, в ребячьем тельнике она живо вписалась в эту разбитную компанию журналистов-бородачей. Загорелые, обросшие, промытые дождями и высушенные солнцем на свекольном поле, исцарапанные в частных набегах на приусадебные участки, они держали жесткими, мозолистыми руками разнокалиберные кружки и пили за здоровье голубой феи — покорительницы корсаров. Шумели. Сыпали анекдотами. Борис заводил патриотическую песню: «Скакал бы ты, Буденный, на своем коне...».

— Я на минуточку, — шепнула Ирана.

После патриотических и всяких там пиратских попурри дошла очередь до романсов, до Есенина. «Не жалею, не зову, не плачу...» Высокая нота, пробивая угрюмый хор самозваных корсаров, красным лучом летела, из прокуренной комнаты, дрожала на листьях деревьев, уходила дальше, в темные, холодеющие поля и, конечно, не могла не достать Ирину. Но где же она? Выбитое есенинским словом сердце, кровавым мячиком прыгало средь застольного хлама и кто б подобрал его?

В остром приступе одиночества Леонид Павлович незаметно вышел из комнаты. Высоко-высоко плескали золотом звезды. Он сидел у реки. Всю ночь.

Вечером следующего дня, после ужина на веранде визжал магнитофон. Разрозненные группки пролетариев свекольного поля объединялись. Издалека, с шуточками начались ритмические приготовления на ночь — кто с кем. Леонид Павлович вытопывал с кем попало. Только не с Ириной. А хорошо, чертовка, танцует! — косился на нее. Но другое дыхание, другие груди со злым упрямством прижимал он к себе и дурацкая логика этого вечера увела его к стогам не с Ириной.

А назавтра журналисты, отработав свой срок, уезжали. Расчет, ругань с колхозным бригадиром и все такое. Потом пообедали. Бригадир оттаял, даже расчувствовался. После обеда по веранде разбрелись парочки. Шуршали записные книжки.

— Позвони, пожалуйста, моей маме.

— И чё?

— Ну скажи, что ты журналист, так и так, мол, все хорошо.

У крыльца допытывался Никита:

— Тонь, а ты правда с трактористом живешь?

— Да что ты! Я у него только ночую.

Леонид Павлович отвел в сторону Ирину. Она — как ни в чем не бывало.

— Чего ж ты слиняла?

— Когда? Ой, а ты еще помнишь? — как всегда смеялась она, — вы так накурили — сил не было.

— Так и сказала бы... Пойдем на речку, — предложил он.

— А меня уже Коля пригласил. Идем вместе?

— Стой, а телефон?

Она назвала домашний и рабочий. Карандаша не было. Леонид Павлович повторил по слогам и, не надеясь на свою память, бросился в комнату якобы за одеялом. В опустевшем помещении стояли голые койки. Курица деловито обходила рюкзаки, свернутые матрацы, клевала вишневые косточки. На подоконнике — мыльница с окурками. Леонид Павлович с трудом отыскал огрызок карандаша и на первом же лоскуте бумаги зашифровал свое будущее в двух загадочных формулах.

На берегу пестрели нехитрые пляжные ансамбли. Кто-то дописывал последнюю пульку. Кто-то плескался. Остальные — жарили обугленные спины в неповторимых позах. Ирина, например, лежала на животе, кусала травинку и весело болтала ногами. Над ухом ее рассыпались Колины конопушки. Леонид Павлович не стал мешать и расстелил свое одеяло неподалеку. Он был снисходителен. Коля — не соперник. А вот Люба, Люба — Ирине соперница. Люба сбегала к реке, размахивая простыней.

— Где ж ты пропал? Я думала не увидимся.

— С солнышком прощаюсь.

— А со мной?

Пока стаскивала через голову легкое платьице, он схватил ее за ногу, потянул на себя. Люба запрыгала на одной ноге, заойкала и, не удержавшись, упала на вытянутые руки Леонида Павловича — расхохоталась. Смотри, Ирина, смотри. Все вы одной породы, и на Колю твоего начхать. Ирина, действительно, обернулась, одарила прямо-таки ослепительной улыбкой. Коля посмотрел подозрительно. Но Леониду Павловичу было уже не до них. Теплое женское тело извивалось в его руках. Невинная сначала возня заходила до того самого градуса, за которым начинались скрытые, распаляющие ласки. Они все сильнее прикипали друг к другу и только смутное табу элементарного приличия заставляло откинуться и заглушить желание каким-нибудь акробатическим приемом. А зачем? Зачем глушить? Вот река, вон излучина — там тальник растет. А луга-то какие, господи! Накинув на себя простыню, он протянул Любе руку. Важной походкой патрициев двинулись они вдоль берега. Проходя мимо Ирины, патриций не

удержался — припал губами к тоненькой шейке, Ирина отзывчиво дрогнула ножкой, но Леонид Павлович выпрямился и в два прыжка очутился рядом с Любой. Они шли, взявшись за руки, оставив за спиной цепкие взгляды пляжного табора — впереди курчавилась зелень, на дальних полях исходила фонтанчиками поливная машина.

— А там вдали, вдали за косогором...

— Плывет качается... — подхватила Люба и голоса их слились:

— Серебряна луна...

Обрывистый берег скрыл их. У самой воды они остановились. Место было глинистое, с редкой травой поверху. Леонид Павлович завалился на какую-то кочку. Люба разделась. Сложила выгоревшие трусики, лифчик, огляделась. Две белые полоски матовым светом ударили в глаза. Он прищурился. Молочные груди рубиновыми зрачками обводили окрестности, а каштановый холмик, изнывая от бремени переполнявших его сокровищ, откровенно соблазнял на раскопки. Но что-то Любе не приглянулось здесь.

Только Леонид Павлович потянулся к ее крепким шоколадным бедрам, они извернулись вдруг, и Люба с тихим визгом, призывно вильнув полушариями, бросилась в воду. Леонид Павлович — за ней. Вынырнул у противоположного берега. Держась за ветку, он другой рукой вытаскивал подплывшую Любу. Они скользнули в кусты. Гибкие ветки тальника сомкнулись за ними и только густые, тонкие листья, мокро блестя на солнце, выдавали этот скрытый лаз. Трава тут была высокая и шелковая. Качали головой ромашки.

... Автобус пылил по сельским дорогам. Журналисты, разменяв на посошок двухнедельную зарплату на пару дюжин яблочного вина, ехали домой. Сидели кротко — посапывали. Ни с того, ни с сего — будто шило в бок. Леонид Петрович напрягся и сильно забеспокоился. Ему вдруг показалось, что он чего-то напутал в ирининых телефонах и может ее потерять и, может быть, навсегда.

— Коль, а Коль, — тормошил он соседа.

— Ну? — поднял веки Коля.

— Какие у ней две последние цифры?

— Домашний или рабочий?

— Любой.

— А ты угадай, — оживился Коля.

— 39? Нет? 93? 19?

— Не угадал, — вздохнул он облегченно.

— Ну скажи тогда.

— Не скажу, — победно ухмыльнулся Коля и добавил. — Боюсь, что тебе не понадобится.

Однако Леонид Павлович не ошибся. Дней через десять, находясь в командировке, он позвонил из другого города — трубку сняла Ирина.

Они ходили в кино, на разные вечера, в гости. Помимо невинного кокетства в Ирине угадывалось еще что-то серьезное. Охотно говорила о работе, о каких-то там программах к каким-то там вычислительным машинам. И все же что-то неуклюжее было в их встречах. То она заспешит вдруг посреди вечера, то начнет заигрывать с кем-нибудь, то устанет некстати, то растанцуется с кем-то, не обращая никакого внимания на Леонида Павловича.

Однажды он чуть ли не силой втащил ее в свою комнату и повалил на кровать. Она вдруг посерьезнела, посмотрела на него чистыми взволнованными глазами и строго сказала: «Не посмеешь. Я девушка». И это в двадцать три года! Леонид Павлович поразился. Он осторожно поцеловал Ирину. Было ясно — она никогда не станет любовницей. Но и терять ее было нелепо. Их отношения Леонид Павлович отдал воле случая. Время рассудит. Будь что будет.

С той поры звонил он ей реже. Лишь в исключительных случаях, когда в омуте жизни он терял всякое чувство чистоты и порядочности, когда душа судорожно билась в поисках горнего света, он сжимал ее тонкие пальчики и проводил с нею час-другой. Да, не в лучшем состоянии духа являлся он к ней, и предложение сделал с полным ощущением безысходности и тупика. Леонид Павлович не был уверен, правильно ли он поступил. Та ли Ирина девушка? И вообще была ли женитьба для кого-нибудь когда-либо спасением?

Надо бы показаться у хороших знакомых. Пусть, например, Элла — жена Сани, очень понимающая женщина — пусть она поглядит на Ирину. Что скажет? Но в тот вечер, во вторник, Эллы дома не было и Леонид Павлович пригласил Ирину в ресторан.

— Почему без цветов? — то ли шутя, то ли серьезно удивилась Ирина при встрече.

— Они тут, — Леонид Павлович элегантно тронул худую грудь.

Ресторан был закрытого типа. Вышколенный метр провел их к дальнему столику, расшаркался: «Мадам». «Мадемуазель», — поправила Ирина. Леонид Павлович сверкнул очами. Покашлял с достоинством.

Он мало ел и много пил. Болтали о пустяках. Чем ближе к делу, тем чаще замолкал Леонид Петрович. Трусил и хмурился. Прикончив вторую бутылку красного грузинского «Напереули»,

вроде бы осмелел, начал было говорить о главном и осекся. Врать не мог, а правда получалась безрадостной.

— Трудно мне, Ирина, и все тут, — сознался Леонид Павлович. Ирина ждала, что он еще скажет. Он говорил о том же. И даже с каким-то остервенением. Не жалея ни ее, ни себя, рисовал жуткую картину своей безысходности, говорил, что только в ней, в Ирине, он видит желанную точку опоры и нет для него другой надежды в этом неудавшемся, запутанном мире. Потом спохватился: «Я люблю тебя... Очень...» Эти слова чахлым цветочком увенчали такую гору нагроможденного хлама, что Леонид Павлович сам же их устыдился. «Но почему хлам? почему хлам?» — мучился он, глядя на потемневшую лицом Ирину. Хоть каплю чуткости, ну хоть легкий признак простого сочувствия, понимания что ли, искал он в ее глазах, но то, что стояло в них, больше всего походило на разочарование. Конечно, так нельзя. Не с этого надо начинать с девушкой. Надо было: «Души не чаю», — и все такое, красивое. А потом: «Вот я такой, я эдакий, то есть талантливый и перспективный, но вдруг — пропасть. Пропасть — это ты». Вот как надо было разворачиваться. Но Леонид Павлович не охмурял. Пусть она знает все, как есть. Обжегшись однажды, он не хотел случайного брака. Жизнь это тебе не корзина цветов, не лак для ногтей. Бывает и так, что трудно жить. Это тоже надо понять. Она может, должна понять.

— Ты хоть чуточку любишь меня?

— Не знаю. Может быть полюблю.

— Ну и как же нам быть?

— В принципе я согласна.

Но что значит — в принципе? Не сейчас, что ли? Потом? Когда же? Ах, черт возьми, какие детали, какая мелочь. Чистой зарей вставала надежда, жизнь приобретала определенность и какой-то высокий, неясный пока еще, смысл.

И все же из подъезда ее выходил Леонид Павлович озадаченный.

— Тебе нужно обновить гардероб, — сказала она.

Он пытался поцеловать ее на прощанье, но она увернулась и исчезла в дверях лифта. Леонид Павлович подтянул короткие брюки, запахнул потрепанное пальто и вышел. Да его обличье — не для жениха такой девушки. Но как некстати она об этом сказала. Он шел и ощущение какого-то шутовства и неполноценности давило сердце.

Он не видел ее две недели. Звонил каждый день. С утра вставал с надеждой на встречу, но все сводилось к каким-то игривым, прямо-таки веселым разговорам. То ей некогда, то что-то с горлышком. А он свое горло готов был порвать, лишь бы

развеять этот миф о женитьбе. Он рвался к ней одержимо, Ирина, только Ирина занимала все его мысли, и ничто другое: ни вино, ни шальные компании — не веселило, не радовало. Не взвидел белого света Леонид Павлович. И пошел напролом — сейчас или никогда! Друзья заказали столик в одном фантастически недосягаемом ресторане. По такому случаю Ирина согласилась, наконец, погладить вечернюю юбку.

Леонид Павлович был серьезен и слегка пьян. До ресторана он успел справить один день рождения. Рассиделся с приятелем и чуть не забыл про Ирину, но спохватился, кинулся искать такси да так и приехали втроем в полной уверенности, что сегодня все могут, им все по колено, и пару лишних мест с помощью тех друзей они, разумеется, выбьют. Не выбили. Те друзья даже обиделись: мол, с женами, в семейном кругу, а ты тащишь кого-то. Повернулся было Леонид Павлович, да Ирина не отпустила. Рюмка за рюмкой — досада понемногу рассасывалась. Леонид Павлович оживал. Но что такое? — светится миндалем Ирина, да не в его сторону. Ему какую-нибудь фигу на лице изобразит, а поглядит на Юрку — так и заелозит плечами, застучит деревянными бусами и прямо выпархивает из-за стола, если Юрка снисходит, если не с Леной своей идет, а ней, с Ириной. Эх, пропади все пропадом — наливай да пей. Потом Леонид Павлович испачкал штаны каким-то экзотическим блюдом. Потом стал думать, когда же эта пытка кончится.

Кончилась в подворотне. Зашли по пути и допили начатую. Провожал ее молча, трудно. Устал. У подъезда она чмокнула его в щеку и улетучилась. Узел затягивался все туже, но и на этот раз не разрубил его Леонид Павлович. Его хоть самого руби — и не почувствовал бы: так оглушен тоской и винищем.

— Ирин, мы ждем тебя, — звонил на другой день из мастерской знакомого художника Леонид Павлович.

— Я отдыхаю (-аю, — аю, вздыхала трубка).

— Ведь договаривались... Ты мне нужна сегодня.

— Так много дел, я готовлюсь к работе, — отмахивалась трубка.

— Завтра я поведу тебя в одно место.

Трубка поперхнулась, и уже раздраженно:

— На этой неделе не смогу, и вообще я в постели, звони на днях.

— Нет, мы пойдем на этой неделе.

— Да не могу же я сломя голову.

— Я утащу тебя.

Трубка обозлилась:

— И куда ты меня приведешь... потом?

— К себе.

— В эту конуру? Ты хоть обставь ее для начала.

— Когда тебе позвонить?

— Дней через пять.

Леонид Павлович швырнул трубку. Он был с характером. А характер его жил своей, особой жизнью. Помыкал Леонидом Павловичем как хотел. И, не дай бог, взбунтоваться характеру. Плюнет в глаза благодетелю, врежет в лоб другу-приятелю, разорвет в клочья гениальный курьез — сильно натерпелся от него Леонид Павлович, да только сладу с ним не было. Вот и сейчас почувствовал вдруг Леонид Павлович, что не позвонит он в четверг, не запишет акт гражданского состояния, не скрасит его участь любимая девушка, не поджарит на завтрак яичницу, не откроет дверь его холостяцкой квартиры, не спросит зарплату — противотанковым ежом встал между ними характер.

— Брось, старик, она не пойдет за тебя, — сказали приятели.

Прощай, Ирина. Прощай, любовь моя. Прощай, настурция. Жизнь идет. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые... Леониду Павловичу больно было смотреть вперед. Зашел к Сереге, изъял все запасы спиртного, выпил и, взглянув на часы, заторопился в фешенебельный ресторан «София». Там его ждали.

* * *

Леонид Павлович спал долго. Был полдень, когда он открыл опухшие веки. Солнце хозяйничало в комнате. С глянцевой бумаги на стене озорно улыбалась ему дочь и, держась за смородиновый куст, вроде бы предлагала: «Хочешь ягодку?» «Хочу,» — сказал Леонид Павлович. Что-то тяжкое свалилось с души в эту ночь. Что-то долго и болезненно нарывало в нем, распирало изнутри и вот — лопнуло. Потянулся последний раз и пошел умываться. Сквозь шум воды и бодрое фырканье из ванной неслось на всю квартиру: «А там вдали, вдали за косогором...»

1976 г.

Голос из тьмы

(Две точки зрения на смысл жизни)

Мы пришли ниоткуда и уйдем никуда. Из тьмы небытия, из сумерек детства загорается свеча нашего сознания. Скоро мы начинаем понимать, что это не навсегда: будет последний жест, последнее слово. До этой границы — наша жизнь, полная боли и радости, страстей и тоски. Чудо появления омрачено страхом смерти и неизбежными страданиями. Вокруг сложный, необъятный, многоярусный мир. Мы чувствуем наше родство и догадываемся, что именно в недрах этого мира была высечена искра, а потом разгорелся огонь человеческого разума. Мы уникальны в этом. Насколько нам известно, ничего подобного до нас в природе не существовало. Лишь нам дано выстрадать и осознать все, чем живет этот загадочный, пугающий своей бесконечностью и катаклизмами мир. А зачем? Рано или поздно каждый из нас задает себе этот вопрос.

I

1. Есть люди, которые сомневаются или даже отрицают реальность объективного мира. Мне трудно согласиться с ними. Историческое и индивидуальное сознание постепенно вычленяет окружающую среду и себя, в себе же — тело и самосознающее «я», т. е. собственно сознание. «Я мыслю, следовательно, существую» — формула самосознания. Я могу существовать и без сознания, но уже рангом ниже, как биологическая особь. Меня вообще может не быть, но, поскольку я есть, я твердо знаю: мир существует.

2. Мир существует в движении и переменах. Движение настолько неотъемлемый атрибут реального, что можно сказать: нечто есть постольку, поскольку его нет. Т. е. в каждый миг любой объект есть не то, чем был. Есть, правда, качественная определенность объекта. Но и она не вечна. Целое живет и умирает. А целостность мира? Вселенной? Есть ли вообще нечто вечное, нерушимое, что поддается уразумению?

3. Говорят, Вселенная вечна. Почему? Потому, что она не имеет начала и не имеет конца, ни во времени, ни в пространстве. Вселенная бесконечна и безгранична как в макро, так и в микроизмерении. Беспредельна в своей безграничности и

многообразии. Сколько бы мы ни познавали ее, на одно открытие встает десять загадок, и единственное, в чем можно быть уверенным до конца, что этот процесс бесконечен. С накоплением знаний мы лишь убеждаемся в непознаваемости мира. Значит, тезис о вечности Вселенной не корректен. Мы не можем ни утверждать, ни отрицать это. Мир — это тайна. Мы постигаем творчество превосходящих нас сил. Из того, что они загадка для нас, вовсе не следует, что они сверхъестественны. Религиозное мироощущение, основанное на признании ограниченности нашего разума и надчеловеческого творчества, более истинно и естественно, чем псевдонаучная антропоцентрическая самонадеянность.

«Я знаю то, что я ничего не знаю» — вот подлинно научная формула человеческого познания. Достоверно мы знаем только то, что знает религия: таинственность мира и наличие высших движущих сил — Творца. Всякое другое наше знание локально и относительно. Нам недоступен смысл явлений, которые мы открываем, ибо ни одно из них не познаем вполне. При всей настойчивости наших изысканий мы — лишь растерянные свидетели Великой Тайны, свершающейся в нас и вокруг нас. Надо иметь ум и мужество, чтобы признаться себе в этом и не утратить вкуса к дразнящей неизвестности. С древнейших времен это признание лежит в основе великих философско-религиозных традиций. Например, даосизма — учения Лао-цзи: видимая, воспринимаемая природа — «дэ» — есть эманация недоступной нам сущности — «дао». Как хорошо найдено слово: «Дао» — закон, путь, движение! Движение как закон мироздания. Все течет, все меняется. Где жизнь, там смерть. Ничто не вечно, кроме одного — движения. Неведомая сила непрерывно творит Вселенную, кружит Землю и наши головы, чего она хочет, несет нас — куда?

4. Налицо самодвижение материи по вертикали: от низших форм к высшим, от простого к сложному. Так явился органический мир, сначала растения, потом животные, потом — человек. Причем развитие идет не в сторону долголетия: мы живем меньше иных животных и куда меньше иных деревьев. Вершинные достижения эволюции довольно хрупки и недолговечны, но остается тенденция: вперед и вверх. Куда? Зачем? Непонятно. А ведь это вопрос смысла сущего, смысла нашего общего и индивидуального существования. И не ответив на этот вопрос, можем ли мы утверждать, хорошо это или плохо, что есть эволюция, что есть жизнь? Является ли тенденция на усложнение биологической и социальной жизни прогрессом, если прогресс понимать как целесообразное развитие?

5. С точки зрения структуры мироздания везде почти находим глубокий смысл, стройность системы, мудрость организации. С точки зрения развития, конечных целей, трудно сказать, зачем все это. Великолепие архитектоники и бессмысленность назначения. Появление человека не разрешило этого парадокса. Природа продемонстрировала творческую мощь, сотворив чудо — мозг. На этой основе она сконструировала орудие самопознания — человека. Слепая стихия прозрела — зачем? Теперь она может посмотреть на себя как бы со стороны, оценить плоды своей эволюции. Плоды прекрасны, но на фига они? Не отравлены ли они абсолютной бессмысленностью их существования? Не этот ли яд мучит и заставляет страдать человека? Не обнаруживается ли в кризисе человека кризис мироздания? Не для того ли природа обратилась к самопознанию, чтобы найти смысл происходящего, да так и не нашла его? Знание, вера — разве они продвинули хоть на шаг представление о сущности бытия? Разве стал счастливее человек в итоге всех этих технических, научных и социальных революций?

6. Да, мы познаем гармонию мира, поражаемся творческой силе, искусству неведомого зодчего. Но если за открытием одних загадок следуют сотни новых, зачем же их открывать, раз им нет конца? Если решение их не делает игру природных сил более осмысленной? Если цель эволюции нам не понятна? В чем смысл бытия? Может быть, его не надо искать? Тогда зачем природа вложила этот вопрос в каждого человека? Это ли не свидетельство попыток природы осознать смысл своего существования? Так в чем же он? До сих пор мы не ответили на этот вопрос и, кажется, не ответим. Стихия прозрела, чтобы убедиться в собственной никчемности. Как орудие самопознания природа довела человека до совершенства. Усилила мозг всевозможными приспособлениями. С помощью машин человек получает, помнит, перерабатывает огромную информацию. Овладел огромной энергией. Все достижения эволюции брошены на самопознание. Результат тот же: смысла нет. Но если нет — зачем познание? Мы знаем много, будем знать еще больше — зачем? Тусклым фонариком человеческого разума природа пытается оглядеть, уяснить необъятность содеянного. И чем совершенней инструменты познания, тем очевиднее становится тщетность разума и бессмысленность сущего. Быть человеком теперь становится и смешно и страшно.

7. Вывод. Если сущность эволюции состоит в том, чтоб обнаружить сущность бытия, если движение материи от низших форм к высшим понадобилось, чтобы создать орудие самопознания, если человек понадобился, чтобы открыть

назначение и смысл мироздания, и если он не справился с этой задачей, если смысла во всем этом нет, — к чему человек? К чему эволюция? К чему сам этот проклятый, бессмысленный мир? Чем меньше смысла в существовании, тем больше его в несуществовании. Логичнее всего — ничто. Кто хочет докопаться до смысла жизни, найдет его в смерти.

II

8. Что бы произошло, если бы не было жизни? Ничего. Если бы не было меня или тебя, мой друг? Да тоже ничего. Говорят, появление жизни, человека — случайность. Этакое редчайшее стечение обстоятельств. Я не очень-то верю этому. Тенденция на возвышение, прозрение материи вполне очевидна. Природа закономерно и последовательно формировала условия жизни, саму жизнь, человека и ныне, согласно все той же внутренней логике развития, формируется социальный или коллективный разум — ноосфера. Тут четко просматривается направленность эволюции на самопознание. В стремлении оглядеть себя, найти свой смысл в существовании, природа за короткое время создает уникальный инструмент самопознания — общество. И не находит смысла. И вот сейчас мы переживаем время рокового выбора: быть или не быть. Только выбор этот делаем не мы, а сила, сотворившая нас, как и самою себя. Игра разочарованной стихии поставила человечество на грань самоуничтожения. И, кажется, теперь, что нет другого исхода, призрак коллективной смерти маячит, внедряется в нас. Но если это так, если ни природа, ни жизнь не имеют смысла и, значит, не зачем его искать, почему же мы так настойчиво его ищем? Что нас заставляет это делать сейчас, когда, казалось бы, все ясно? Инерция или все-таки есть проблеск какой-то надежды?

9. Есть выражение: божий перст. Я вижу его в генетической программе человека — в инстинктах. Что-то извне заставляет нас жить, мы словно выполняем чью-то волю. Даже когда становится совсем уж невмоготу, когда мы убиваем себя, мы делаем это трудно, наперекор инстинкту, в борьбе вырываем эту свою свободу. Природа нас заставляет жить! И в филогенезе и в онтогенезе жизнь стремится сохранить себя и делает все для выживания. Смысл биологической жизни — в самосохранении вида и индивида. В человеческом обществе, как и всюду в мире живого, существование вида и индивида взаимообусловлено. Когда под угрозой индивид, человек становится эгоистом, когда под угрозой вид — человек альтруист. Нет изначальной

направленности человека на себя или общество, она устанавливается в зависимости от ситуации. Субъективный смысл самосохранения не придуман нами, а задан нам, не столько мы этого хотим, сколько чья-то воля, вложившая в нас этот инстинкт. Но зачем жить, если нет смысла в жизни? Чего домогается природа? Ведь дар самосохранения абсурден, ибо смысл его состоит в сохранении бессмыслицы. Это великое противоречие природы клещами рвет наши души и головы, как только мы обретаем понятие смысла, а потом не находим его. Абсолютная тщета существования и мощный инстинкт самосохранения — абсурд и логика едины! Быть игрушкой в руках абсурда незавидная доля. Кроме того, это трудная доля, ибо просто жить — трудно. Болезни, страдания довершают дело. И главное, все это не имеет совершенно никакого смысла. А люди живут и страдальцы плодятся. За что, за какие грехи это мучение, за что мы наказаны законом самосохранения? Жизнь воспринимается как покорность злой воле природы. Все мы — несчастные жертвы неудавшегося эксперимента. Что-то нас заставляет жить, страдать, да еще размножаться. И уже само сознание ярма, принуждения вызывает чувство протеста. Еще глупее подчиняться абсурду. Восстать! Убить себя и тем самым разрешить мучительное противоречие. В этом акте мы обретём и смысл и свободу. Есть, правда, другой путь — смирение. Христианское, буддийское, толстовское — какое там еще? Но это тупиковый момент человеческой эволюции. Тут мы оказываемся в одном ряду с пчелой, например, муравьем, тараканом.

10. Да, мы можем убить себя, но почему противится этому природа? И почему, несмотря на ее коварство, мы все же любим ее и желаем ей здравствовать хотя бы и без всякого смысла? Это чувство может быть остаточным и потому обреченным. Оно по инерции может тянуться с тех времен, когда мы и природа были еще союзники, когда она ждала от нас решения вопроса о смысле сущего. Мы не нашли смысла. Зачем мы ей, зачем она нам? А может быть, есть и другая причина? Пусть эксперимент не удался. Пусть даже мы вообще игра слепого случая, плод недоразумения. Природа ясно дает понять: коли жизнь состоялась, она становиться необходимостью. Почему? Что ей еще от нас надо?

11. А ей от нас надо, очевидно, многое. Больше, чем она сама может. Мне кажется, природа, сотворив инструмент самопознания, неожиданно в лице человека открыла новую, более совершенную творческую силу. В рамках самосохранения она дала нам полную свободу в надежде, что мы сумеем распорядится ею так, что создадим более осмысленный, целесообразный мир, наделаем меньше ошибок, чем наделала сама природа в процессе

своей эволюции. И, может быть, не в стихийном, не в биологическом, а в социальном мире отыщется тот смысл, который один лишь способен оправдать все сущее и наполнить каким-то значением бытие и акции человека, а значит, и самой природы. Престарелая, заблудшая праматерь уступает место своему детищу, и с этого момента, собственно, начинается творчество как сознательное, осмысленное, целенаправленное созидание. Созидательная сила Вселенной аккумулируется в творческой энергии человеческого общества. Отныне не стихия, а дух, он же бог, освященный тайной своего появления, становится устроителем мира. Эволюция пошла в совершенно ином измерении. Началась эпоха управляемого развития. Каким же смыслом она может наполнить нас?

12. Странное дело: чем больше мы узнаем, чем больше убеждаемся в невозможности познать, подчинить весь мир, — тем больше усиливается наш контроль над миром в пределах познанного. Знание все-таки действительно — сила. Раздвигаются границы познания и вместе с ними расширяется сфера влияния человека, крепнет его активная, созидающая, преобразующая роль. Инстинкт самосохранения оплодотворяется духовной потребностью творчества. Диктат внешней воли трансформируется в диктат человеческой активности. И с точки зрения последней самосохранение приобретает смысл и целесообразность. Мы уже не тяготимся насилием со стороны природы, не сетуем на нее, а воспринимаем ее волю как должное, как предпосылку собственного развития. И этот процесс развертывания наших внутренних сущностных сил нам представляется целесообразным. Целесообразным хотя бы потому, что есть энергия, она ищет выхода и должна найти его в нашей деятельности. Этот процесс сам по себе составляет глубокий смысл и конечную цель существования. Откуда энергия, зачем — непостижимо. Но она есть. В лоне этого таинства зажглись две звезды: существование и новизна. Существование как признание и примирение с таинством, как сознательное продолжение игры природы. Новизна — как творческий акт, как божественное совокупление человека с тайной. В нашем лице природа продолжает творить, но уже на качественно ином уровне, настолько ином, что уже человек, а не косная природа, становится у руля эволюции. Бесконечная активность природы не обнаружила никакого смысла, и теперь она передает эстафетную палочку нам: создавайте свой мир, ставьте свои цели. Природа открыла в себе саморегулирующее начало — дух и вложила его в человека. Именно нам предстоит объяснить и направить мир, на нас легло бремя поиска смысла, нам суждено вершить суд над

собой и окружающим. А может быть, и защитить природу.

13. Все разумное (познанное) действительно, но действительность не разумна. Сознательное развитие под эгидой человека может избавить от излишеств эволюции, предотвратить драматические недоразумения вроде появления жизни. Хотя на первых порах мы и сами ломаем дрова, не будем забывать, что мы еще драчливые дети, в нас еще много противоречий природы, что общество как таковое, как коллективный мозг, как ноосфера делает первые шаги и речь идет не о сегодняшнем становящемся человеке, а о будущем, объединенном, какой рисуется нам, исходя из потенциальных возможностей и уникального назначения в этом мире. Но уже сейчас, кажется, ясно, что того, онтологического смысла в существовании мы так и не откроем. Он спрятан в тайнах мироздания, а они пока не доступны. Оттого так велико горькое брожение в наших незрелых душах. Ощущение бессмыслицы, пустоты удручает нас, и мы не можем сказать себе, зачем мы трудимся, зачем деремся, зачем радуемся, зачем страдаем. Мы без особого сожаления заполняем эту пустоту алкоголем, наркотиками, а то и сразу убиваем себя.

По-моему это идет от незрелости, от слабости. Мы стоим на том переломе, когда мы уже не природа, но еще не каждый из нас почувствовал в себе бога, творца. Признак его мы уловили давно, но до сих пор многим из нас кажется, что бог вне нас. Мы еще отождествляем его с природой, а сами вовсю уже перелопачиваем ее на свой лад. Мы мало замечаем, как быстро мы растем и наливаемся творческой мощью. Мы не отдаем отчета в той ответственной миссии, с какой мы пришли в этот мир. Не в чьих-то, а в наших руках судьба нашего мира. А наш мир не только мы сами, но и познаваемая Вселенная. Процесс познания, а значит, и творчества, как раз и наполняет жизнь нашу смыслом. Если мы не видим смысла в существовании из-за тайны происхождения, то у нас также нет никакого основания думать, что эта тайна в принципе недоступна для нас. Мы просто не знает об этом. Узнаем ли? Тоже не знаем. Можно, конечно, впасть в уныние. А можно и наоборот. Границы познания стремительно расширяются. Мы наоткрывали много чудес, решили бесчисленное множество загадок. И почему бы на Тайну не взглянуть как на чудо, которое предстоит узнать.

Это невероятно, но теоретически тут нет ничего невозможного. Все зависит от точки зрения. Я принимаю точку зрения не биочеловека, а бога, творца. Бог это не я и не ты, это мы вместе, это наш коллективный дух, коллективный разум, обладающий неограниченной мощью Панкратора. Весь срам нашей современной жизни я отношу за счет зверского в нас,

загаженного вдобавок незрелым умом и духом. Но зреет дух, наливается силой разум, отстает понемногу линялая дикая шкура. В судорогах и крови вершится великая метаморфоза. Проступает божественный лик. Я верю в человека, верю в необратимость нашего явления в свет и потому я оптимист. Вместо самопожирающего дикого мира природы мы создадим гуманную, гармоничную культуру. Это наша обязанность, потому что мы единственные, кто это может сделать. Трудно сказать, докопаемся ли мы когда-нибудь до волнующего нас смысла жизни, но можно быть абсолютно уверенным в том, что каждый акт нашего познания, всякая новизна, всякое художественное или научное открытие будут шагом на пути к нему. В новизне мы прикасаемся к великой тайне, и она наполняет нашу жизнь смыслом. Так возникает чувство полноты жизни, которое мы называем счастьем. Онтологический смысл мерцает нам из своего таинственного далека, он как горизонт — вроде бы и есть и вроде бы его нет. Важно, что он зовет нас, и мы идем к нему, продираясь через джунгли мировых загадок, и этот путь творца сам по себе представляет реальный смысл нашей жизни. Это путь истины, красоты и добра. Это тернистый путь. Его не пройдет ни тля, ни раб, ни прохиндей, ни рвач — никакая другая биологическая особь. Для этого надо быть богом. И человек в поисках смысла жизни станет богом.

14. Итак, на четырех столпах держится наша жизнь: инстинкт самосохранения, томление жизненных сил — энергии, сыновний долг защитить и исправить природу на новом витке эволюции, тайна бытия, без постижения которой как-то и уходить со сцены неудобно. На первых двух столпах, возведенных природой, держится наше тело. На двух последних — держится наш дух. Дух взбудоражил нас понятием смысла, и он же раскрывает это понятие в категориях долга (ответственности) и творческого познания. Без освоения этих категорий дух человека никогда не обретёт состояния полноты жизни, ее смысла, и тогда жизнь будет в тягость, вся энергия пойдет на самоуничтожение, на преодоление инстинкта самосохранения. В этом случае человек не продолжает природу, а противопоставляет себя ей, он бросает ей вызов и должен умереть. Человечество ныне как раз переживает борьбу двух тенденций: божественное, творческое начало вырывается из трясины недобродившего духа. Борьба идет как в общечеловеческом измерении, так и внутри нас. Отсюда все социальные и личные драмы, и к ним надо относиться как к неизбежным проблемам переходного периода, как к болезням божественного становления. В нас победит либо смерть, либо бог. Между ними — обреченная скотина, гниющая под ярмом

абсурдной необходимости: жить, чтобы жить.

Нет, пораженные духом, мы никогда не вернемся в царство животных, в этом обличье нам уже не дано выжить. Жить, чтобы творить — вот девиз и спасенье человечества.

1979 г.

173 свидетельства национального позора, или О чем умалчивает конституция

Идет якобы всенародное обсуждение проекта Конституции СССР. Газеты пестрят заголовками «С воодушевлением и энтузиазмом», «На благо каждой семьи», «Закон нашей жизни», «Демократия для всех», «Озарено счастьем», «Вдумайтесь в эти слова»... Потоки подписей и фотографий омывают вдохновенные строки. Чувства, надежды, песни народа «и как один умрем...», «лети, лети мой паровоз», «мы рождены, чтоб сказку сделать былью» воплотились в 173 статьи самой справедливой, самой гуманной Конституции. Как можно обсуждать такую Конституцию? Ее можно только одобрять. И мы ее в основном одобряем. Одобряем как песню, как сказку, как мечту. Вся наша печать, наше телевидение, наше радио сейчас сплошной рев восторга. И все бы хорошо, да одно смущает. Обсуждаем Закон, а хвалим действительность. Утверждаем, что сказка уже стала былью, что мечты уже превратились в реальность. Но раз задается сопоставление, надо сравнивать. О действительности надо судить не по Букве, а по ней самой. Какая она? Что происходит в нашей великой стране и как это согласуется с Конституцией? Конституция — перед нами, жизнь — перед нами. Давайте сравнивать. Нам предлагают: вдумайтесь в эти слова. Дело совести каждого советского человека — вдуматься. Пусть и на этот раз не изменят присущие нам воодушевление и энтузиазм.

I.
Основы ощественно-политического и экономического строя

Глава 1.
Политическая система.

1. Союз Советских Социалистических Республик есть деспотическое государство, выражающее волю и интересы партийной бюрократии, опирающейся на армию и мощную систему слежки, контроля и узурпации.

2. Вся власть в СССР принадлежит политбюро. Политбюро осуществляет государственную власть через республиканские, областные, городские и районные партийные комитеты, составляющие политическую основу СССР.

3. Организация и деятельность Советского государства строятся в соответствии с принципом автократии (самовластия): назначение всех представителей государственной власти сверху донизу, абсолютная подотчетность нижестоящих органов перед вышестоящими, полное отсутствие действительной выборности. Автократичность СССР выражена в форме диктатуры партийной бюрократии, которую в Советском Союзе предпочитают называть диктатурой пролетариата. Но чем еще может быть диктатура пролетариата в однопартийном государстве, лишенном каких-либо форм оппозиции, с фальшивой избирательной системой, если не оголтелой диктатурой партократии и ее очередного вождя? В данном проекте Конституции термин «диктатура пролетариата» под давлением западных компартий стыдливо снят, но суть государственной системы СССР и политики любой компартии от этого не меняется.

4. Советское государство, все его органы действуют на основе формальной законности, на самом же деле, обеспечивают охрану интересов и прав властвующей элиты.

5. Наиболее важные вопросы государственной жизни решаются в Политбюро с привлечением соответствующих референтов и советников.

6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, всех государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза.

7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский

комсомол, кооперативные и другие массовые общественные организации участвуют в исполнении директивных указаний политбюро.

8. Основным направлением развития политической системы советского общества является сохранение и широкая экспансия существующего строя: усиление политической роли партийных комитетов при социальной инертности масс, углубление кастовых различий между начальниками и подчиненными, господствующей верхушкой и исполнительским большинством, внутрипартийная борьба за власть, чрезмерное разбухание партийно-государственного аппарата, дальнейшая формализация общественных организаций и узурпация общественного мнения.

Глава 2. Экономическая система.

9. Основу экономической системы СССР составляет государственная собственность на средства производства, находящаяся в полном и безраздельном владении партийно-бюрократического аппарата. Собственность кооперативных и общественных организаций является лишь формой государственной собственности.

Никто не вправе использовать государственную собственность в целях личной наживы, кроме правящего класса.

10. Государственная собственность не является достоянием народа, ибо не принадлежит ему и используется в интересах партийной бюрократии.

11. Собственность колхозов и других кооперативных организаций находится под полным контролем партийной бюрократии, которая фактически распоряжается этой «собственностью». Земля, занимаемая колхозами, может быть отнята у них (вплоть до ликвидации самого колхоза) решением вышестоящих инстанций.

Партийная бюрократия ведет курс на ликвидацию колхозно-кооперативной собственности и замену ее государственной.

Собственность профсоюзных и иных общественных организаций фактически есть государственная собственность, ибо сами эти организации не что иное как формы осуществления государственной власти.

12. Граждане СССР не имеют права собственности на средства производства. Доходы от имущества, находящегося в личной собственности, граждан, жестко регламентируются и контролируются государством.

13. Источником роста государственного богатства является

подневольный труд советских людей, жестокая эксплуатация трудящихся. Государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Заработная плата определяется не по труду, а по установленным нормам и уровню.

Не труд как таковой, а служебное рвение, преданность партийно-бюрократическому аппарату определяют положение человека в советском обществе. Государство способствует превращению труда в обслуживание интересов партократии, дискредитирует ценность труда как самоцели, как способа самореализации личности.

14. Высшая цель общественного производства при бюрократическом деспотизме — наиболее полное удовлетворение растущих потребностей правящего класса.

15. Экономика СССР составляет единый хозяйственный комплекс. Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов, спускаемых централизованным руководством в директивном порядке. Планы могут меняться в зависимости от произвола высшего руководства и хаотических явлений в общественном производстве, вызванном несовершенством системы планирования и стимулирования. Хозяйственный расчет, прибыль, себестоимость практически не используются. Их внедрение ограничивается отдельными, так называемыми, «экспериментами». Общая система хозяйствования основывается на централизованных, субъективных решениях в области производства, цен, распределения.

16. Общественные организации участвуют в управлении предприятиями, однако, будучи формами осуществления государственной власти, подчиняются партийно-бюрократическому аппарату и фактически не представляют большинство трудящихся. Это представительство имеет исключительно формальный характер.

17. В СССР индивидуальная трудовая деятельность в сфере культурно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения и др. допускается по особому разрешению и в строго ограниченном масштабе.

18. В СССР не принимаются все необходимые меры для охраны научно-обоснованного, рационального использования земли и окружающей среды.

Расточительно и крайне нерационально используются земные недра, истребляется животный и растительный мир, опустошены морские и особенно пресноводные рыбные бассейны, загублены многие реки, воспроизводство природных богатств значительно отстает от ускоряющихся темпов их расхищения.

Глава 3.
Социальное развитие и культура.

19. Советское государство способствует усилению социального неравенства между партийно-бюрократической элитой и населением, нивелировке последнего по барачно-казарменно-коммунальному образцу; стирание различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, сближение наций и народностей в СССР приобретают искусственю-догматический характер.

20. Исторические идеалы человечества в СССР превращаются в свою противоположность. Принцип «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» на деле означает отсутствие элементарных свобод для всех и каждого, даже партийная бюрократия не свободна в своей разнузданности. Советское государство ставит своей целью подчинение творческих сил, способностей и дарований граждан для тенденциозного функционального обезличивания человека, для превращения его в часть, «винтик» бюрократической машины.

21. Государство заботится о создании так называемых образцово-показательных предприятий и учреждений, о показухе, которая призвана скрыть действительное положение дел в области условий труда, механизации и автоматизации производства. Состояние и темпы оптимизации условий и содержания труда в СССР значительно отстают от аналогичных процессов в цивилизованных странах.

22. 60 лет в СССР голословно декларируется программа превращения сельскохозяйственного груда в разновидность индустриального, преобразование сел и деревень в благоустроенные поселки. О крахе этой программы свидетельствует страшная неэффективность сельскохозяйственного труда, сельскохозяйственной техники, отсутствие мяса и других важнейших продуктов питания, запущенность, а нередко и нищета большинства сел и деревень, примитивизм и низкое качество социально-бытового обслуживания в них.

23. Государство осуществляет курс не столько на повышение уровня оплаты труда (он один из самых низких в мире и основан на уравниловке), сколько на повышение так называемых «реальных доходов» трудящихся, которые есть ничто иное как драконовские вычеты из заработка в государственную казну, часть которых затем распределяются в форме благотворительных жестов партийной бюрократии. На руки трудящиеся получают не более 1/10 своего заработка.

24. В СССР действуют только государственные системы здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, общественного питания и коммунального хозяйства. Есть две системы: одна нелегальная — обслуживает партийную бюрократию, другая официальная, общественная, — которая как в качественном, так и в количественном отношении не обеспечивает ни должного здравоохранения, ни должного обслуживания.

25. В СССР существует единая государственная система образования, которая служит коммунистическому воспитанию, одностороннему развитию молодежи в духе беззаветной преданности вождям, и существующему строю. Образование в СССР бесплатное, находится под неусыпным контролем партийной бюрократии.

26. В соответствии с потребностями властей, государство обеспечивает развитие главным образом технических и естественных наук и подготовку соответствующих научных кадров. Гуманитарные науки — история, социология, экономика, психология, философия и др. — закрепощены официальной идеологией и предназначены в основном для обоснования и пропаганды партийных решений и тенденциозного комментирования речей вождей и классиков марксизма-ленинизма. Объективные результаты гуманитарных научных исследований проходят по закрытым каналам, тщательно скрываются и практически не находят жизненного применения. Самостоятельные, действительно научные изыскания в сфере гуманитарных наук обычно пресекаются, а ученые подвергаются травле и дискриминации.

27. Охрана и приумножение духовных ценностей в СССР имеет строго избирательный характер. Существуют черные списки деятелей искусств, науки, списки произведений запрещенных в СССР. Они не только не издаются, не ставятся на подмостках театров, но вообще не упоминаются. В СССР не издаются произведения большинства русских и зарубежных философов, многих писателей и поэтов. Многие выдающиеся деятели искусства и науки истреблены или вынуждены эмигрировать.

Глава 4
Внешняя политика.

28. Советское государство последовательно проводит ленинскую политику мировой революции, в ущерб элементарным нуждам населения наращивает военную мощь, создает военные

конфликты в различных районах планеты и участвует в них, имеет военные базы в целом ряде стран, ведет подрывную деятельность в странах иной политической системы, не советской ориентации.

СССР 32 года живет в условиях мира, но фактически в тех или иных формах непрерывно участвует в подготовке и ведении войн за рубежом.

29. Отношения СССР с другими государствами строятся на основе извлечения односторонних выгод в военной, политической, дипломатической, экономической областях. Во всех странах СССР имеет разветвленную сеть тайной разведки, широко практикуется вербовка агентов, подкуп лиц и целых учреждений. Международные договора соблюдаются постольку, поскольку служат интересам проводимой политики. Все международные договора и вся дипломатическая деятельность СССР есть лишь ширма, скрывающая подлинные намерения СССР, инструмент необузданной экспансии. Многие важные договора не опубликованы в СССР и не выполняются. Так, не опубликована и не выполняется Декларация ООН о правах человека.

30. Советский Союз оккупировал и держит под военным и политическим контролем ряд стран Восточной Европы, так называемую «мировую систему социализма» Возникающие конфликты благополучно разрешаются доблестной Советской армией — единственной основой «социалистического содружества».

Глава 5.
Защита социалистического отечества.

31. Защита существующего политического строя есть важнейшая функция государства.

В целях защиты советских завоеваний, дальнейшей экспансии и претворения курса на «мировую революцию» в СССР создана самая большая в мире армия и установлена всеобщая воинская повинность.

32. Государство обеспечивает наступательную способность Вооруженных сил, отказывая обществу в необходимом, им не отказывает ни в чем. По крайней мере 80 % промышленного потенциала СССР работает на армию. Экономика, политика, воспитательная работа направлены на создание и развитие военизированного, милитаризованного общества. Формы и ритуалы пионерских дружин, комсомольских отрядов с их командирами, комиссарами и бойцами, военная подготовка в школах и вузах, систематическая переподготовка

военнообязанных, всеохватывающая система гражданской обороны, общественные организации типа ДОСААФ, военизированные детские игры «Звездочка», «Орленок», «Боевая зарница» и т. п.; обязательные так называемые военно-патриотические рубрики во всех газетах, на радио и телевидении, соответствующие отделы в книжных издательствах — все это не что иное как государственная система милитаризации населения сверху донизу, охватывающая всех и каждого.

II
Государство и личность

Глава 6.
Гражданство СССР. Равноправие граждан.

33. В СССР извращено само понятие гражданства. Граждане СССР фактически лишены основных гражданских прав в нарушение законов и Конституции.

34. В СССР вопиющее неравенство граждан перед законом, обусловленное степенью близости к партийной бюрократии, преданностью господствующей элите: «кто не с нами, тот против нас». Одни неуязвимы для закона, другие беззащитны перед произволом властей.

36. Одна из наиболее угнетенных социальных групп в СССР — женщины. Женщины имеют в 2–3 раза меньше свободного времени, многие вообще его не имеют, работая полный рабочий день, после работы ведут домашнее хозяйство. Домашний труд женщины тяжел. В силу отвратительного коммунального и бытового обслуживания со стороны государства, плохого качества жилья, отсутствия необходимых видов домашней техники вся работа на дому производится женщиной вручную. В ряде отраслей число женщин, работающих в ночные смены, в 2–3 раза превышает число мужчин. Широко эксплуатируется труд женщины на тяжелых дорожных и транспортных работах. Замужняя, но не имеющая детей женщина, вынуждена платить позорный налог за бездетность. (Кстати, метод негативного стимулирования — типичная особенность социальной политики СССР). Многие женщины не имеют возможности поместить детей в детские сады и ясли из-за отсутствия мест. Заработная плата женщин значительно меньше, чем у мужчин, содержание труда — степень механизации и автоматизации их труда, степень творчества в труде — хуже, беднее.

36. Значительное неравенство имеет место в СССР среди граждан различных национальностей. Особенно велико оно в экономической сфере, в уровне жизни: достаточно сравнить экономическую политику в Прибалтийских республиках и России, уровень жизни в Грузии и Центральной Росссии (особенно нечерноземных областей — исконно русских и наиболее нищих).

37. Иностранные граждане в СССР имеют несравненно больше прав, нежели советские граждане. Лучшие гостиницы, рестораны, театры, спектакли, товары им гораздо доступнее, чем

населению СССР. Недоступны иностранцам плохие учреждения быта, культуры, нищие города и деревни, коих великое множество.

38. СССР действительно представляет право убежища иностранцам, но мало кто использует это право. Иностранцы предпочитают цивилизованные страны.

Глава 7.
Основные права, свободы и обязанности граждан СССР.

39. Граждане СССР фактически не обладают правами и свободами, провозглашенными Конституцией, которая совершенно не гарантирует эти права и свободы. Советский строй обеспечивает расширение прав, улучшение условий жизни господствующей бюрократии и дальнейшую узурпацию населения.

40. Граждане СССР имеют не право, а обязанности на труд (см. ст. 60), который по сути дела есть государственная подневольная служба. Тот, кто не числится на службе, преследуется органами власти. Тот, кто числится, вовсе не обязан работать вообще или с полной отдачей. Более того, система планирования производственных заданий от «достигнутого» объективно лишает возможности трудиться в меру сил и способностей. В СССР все более возрастает разрыв между уровнем образования, квалификацией трудящихся и содержанием труда. Служба все чаще воспринимается населением как тяга, наказание, средство к существованию.

41. Граждане СССР имеют весьма относительное и неравное право на отдых, в этом отношении бесправнее других социальных групп — семейные женщины. Широко распространены сверхурочные работы, подлинный объем которых установить невозможно: большая их часть не попадает в отчетность, а то что фиксируется все-таки статистикой, тщательно скрывается. Далеко не все граждане имеют возможность получить путевку в места отдыха. Система учреждений отдыха, предназначенных для партийной бюрократии, в качественном отношении не идет ни в какое сравнение с общественной системой. Возможности получения льготных путевок, комфортабельного отдыха тоже не сравнимы.

42. Когда нет подлинных гражданских прав, выдумываются, возводятся в ранг закона всевозможные потешные права, равносильные, например, праву на отправление естественных надобностей. Что значит право на охрану здоровья? Каждый

человек и без Конституции следит за своим здоровьем, а заявлять: вот, мол, какие мы добрые —даем вам право на здоровье, кощунство. Система медицинской помощи, санитарно-гигиенических условий труда и быта господствующей бюрократии резко отличается от общественной. Очереди в поликлиниках и больницах, плохое качество медицинского обслуживания населения, недостаточное финансирование, низкая оплата труда медицинского персонала, острая нехватка и варварское обращение младшего медицинского персонала — вот характерные особенности советской системы общественного здравоохранения. Объективное состояние санитарно-гигиенических условий труда, травматизма оценить невозможно из-за повышенной секретности соответствующей статистики. Во всяком случае условия труда на большинстве предприятий и учреждений в СССР не соответствуют нормам промышленной санитарии, травматизм со смертельным исходом (летальность) неуклонно растет, а несчастные случаи обычно скрываются, большинство их не фиксируется официальной отчетностью.

43. Право на материальное обеспечение в старости для многих стариков, особенно пожилых женщин, которые составляют большинство лиц пенсионного возраста, означает несколько рублей или два-три десятка рублей в месяц. Это ничто иное как право на нищету, голодную смерть. Подавляющее большинство домов для престарелых представляют страшное зрелище.

44. Право на жилище в СССР осуществляется весьма своеобразно. При официальной норме 11–15 кв. м на человека, записывают на очередь в основном тех, у кого менее 5 кв. м. на человека. В очередях стоят годами, причем обычно распределение идет не в порядке очереди, а в зависимости от самоуправства администраторов. В органах, распределяющих жилье, процветают взятки и коррупция. Подавляющая часть введенного в последние годы жилья, чем так гордится правительство, мало приспособлена для полноценного существования, нерациональна ни в бытовом, ни в экономическом, ни в архитектурном, ни в эстетическом отношении (см. Черемушки). В ряде городов запись на очередь связана с прожиточным цензом в данном городе, например, в Москве записывают лишь после 10-летнего проживания. Цены на кооперативное жилье стремительно растут и ныне практически недосягаемы для среднего труженика, сравнительно дешевая однокомнатная квартира — большой дефицит.

45. Образование в СССР имеет антигуманитарный характер, обусловленный официальной идеологией и политикой. В СССР есть кодекс строителя коммунизма, но ни в одной школе не преподается этика. Принцип партийности пронизывает как

преподавание, так и преподаваемые предметы. Поэтому гуманитарные дисциплины — литература, история, обществоведение, политэкономия, философия, эстетика и др. — преподносятся в основном малоквалифицированными преподавателями и в извращенном, виде. Преподаватели общественных дисциплин — номенклатура партии, членство в КПСС для них обязательно.

46. Граждане СССР имеют право только на те достижения культуры, которые санкционированы официальными органами. Все учреждения массовой информации и культуры находятся под жестким контролем цензуры. Но даже ценности официально разрешенной культуры не являются общедоступными. Билеты на наиболее интереснее спектакли, выставки распределяются прежде всего среди бюрократической элиты, гордость русской нации Большой театр превратился в валютный театр, т. е. в театр для иностранцев. В СССР широко практикуется система закрытого просмотра фильмов и других культурных ценностей, которые доступны народу любой страны, но не доступны советскому народу. Помимо центральной есть республиканская, областная цензура. Местные органы власти непосредственно контролируют репертуар, подбор кадров и другие стороны культурной жизни данной области, города. Например, фильмы, демонстрирующиеся в одной области, могут не допускаться до массового экрана в другой области.

47. Научное, техническое и художественное творчество в СССР допускается лишь в той мере, в какой соответствует целям партократии. Никакая свобода здесь не может быть гарантирована, ибо любая деятельность в СССР находится под строгим контролем государственных органов и обеспечивается главным образом государством.

Неофициальное творчество, не подчиняющееся установленным нормам, игнорируется государством, а чаще всего преследуется. В этом случае у автора нет никаких прав, произведение может быть конфисковано и уничтожено, автор — репрессирован. Без санкции государства ни один автор не имеет право размножать и публиковать свое произведение ни в СССР, ни за рубежом (вспомним, например травлю Пастернака, Евтушенко, Солженицына, Сахарова, осуждение Даниэля, Синявского и многих других).

48. Естественное право граждан участвовать в управлении государственными делами в СССР формализовано и практически сведено на нет. Избирательная система фальшива и по сути дела есть скрытая форма административных назначений. Избиратели не имеют возможности выбора кандидата, ибо из кого выбирать,

если так называемый «кандидат» в единственном числе и назначение его давно предрешено «сверху». Участие в «избирательных» компаниях обязательно. Статистика участвовавших в голосовании — всегда около 100 % — свидетельствует не об активности населения, а об активности партократии и фактическом бесправии граждан, т. к. последние не имеют права не являться на избирательный участок. Назойливость агитаторов не знает границ. Агитаторы и организаторы компании несут личную ответственность за неявку избирателя. Подобные случаи рассматриваются на партийных комитетах и влекут за собой репрессивные меры как по отношению к агитаторам, так и по отношению к неявившемуся избирателю. Подлинные результаты голосования подтасовываются и не попадают в официальную отчетность. Вот откуда 99,999 % проголосовавших, вот откуда «единодушие» избирателей, вот почему не бывает случая, чтобы какой-либо «кандидат» не был избран.

А чего стоит «участие» граждан в обсуждении и выработке проектов законов и государственных решений — видно хотя бы из характера нынешнего обсуждения проекта Конституции: в мутном океане массовой информации, протоколов, производственных совещаний нет и намека на критику, на подлинное обсуждение, все вылилось в насквозь неискреннее, фальшивое «одобрение». Никогда комментарий, подобный нашему, не попадет на страницы печати, на радио. Публичные дискуссия на эту тему попросту невозможны, а если и возникнут, будут немедленно пресечены.

Так называемые «органы общественного управления предприятием», все эти ПДПС, ОБЭА, ОБН, ООК и прочие, с самого начала были мертворожденными образованиями и в действительности не имеют никакого значения. Никаких начатков подлинного самоуправления на предприятиях СССР и даже в колхозах нет и при существующем режиме быть не может.

49. Критика официальных органов преследуется. В большом ходу анонимки, которые широко используются в интересах вышестоящей инстанции, в аппаратной борьбе за служебное кресло, за власть.

50. Афишируемая в СССР свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций есть фарисейское надругательство над народом. Никаких гражданских свобод в СССР не было и нет. Есть только организованные акции партократии, свидетельствующие о разнузданности и свирепости ее диктатуры. Свобода слова? — но в СССР сажают даже за анекдоты. Печати? — но в СССР нет ни одного самостоятельного

издания, неофициальная печать, исключительно нелегальна, участь ее, участь «самиздата» известна всем — произведения конфискуются, авторы жестоко преследуются. Собраний? — только с представителем парткома, только под официальным контролем; прочие формы собраний, вроде посиделок дворовых старух или коллективного забивания «козла», допускаются лишь постольку, поскольку там не заходит речь о политике. Митингов? — это когда рабочих сгоняют в одну кучу и заштатные ораторы по бумажке говорят о Вьетнаме, о неграх в Америке, о Луисе Корвалане, об апартеиде в Южной Африке и о многом другом совершенно им непонятном, а потом все «единодушно» голосуют «за» — за что, зачем, тоже никому не понятно. Неофициальные митинги запрещены. Демонстрации? — только с многочисленными портретами членов политбюро, так называемых «вождей», которые снисходительно взирают на свои изображения, плывущие на руках хорошо организованной толпы.

51. Все общественные организации в СССР учреждаются и контролируются партийными органами. Они есть, ничто иное как формы осуществления диктатуры партократии.

52. СССР — антирелигиозное государство. Церковь, подконтрольна, права ее чрезвычайно ограничены. Руководство религиозными учреждениями, подбор кадров осуществляет специальный правительственный Комитет по делам религии. Многие религии в СССР запрещены, верующие преследуются. Против религиозных верований насаждается вражда и ненависть. Атеистическая пропаганда имеет тенденциозный и разнузданный характер. Публичные дискуссии между верующими и атеистами практически не допускаются. Церковь имеет ничтожную полиграфическую базу и не имеет доступа к средствам массовой информации — прессе, радио, телевидению. В свою очередь граждане СССР не имеют доступа к религиозным изданиям. Участие в отправлении религиозных культов строго ограничено, особенно для молодежи. Во время религиозных праздников у церквей дежурят многочисленные наряды «дружинников», бригадмильцев, милиции, которые не столько наблюдают за общественным порядком, сколько вылавливают молодежь. Вход в церковь по праздникам разрешаетея только по специальным пропускам. Верующие лишены возможности административной и любой управленческой деятельности, преподавания, работы в воспитательных, учебных, издательских т. п. учреждениях. Государство противопоставляет официальную идеологию религиозной и ведет последовательную политику на ее искоренение.

53. «Защиту» семьи государством в СССР следует понимать

как право государственных и особенно «общественных» органов вмешиваться в семейную жизнь. Партократия простирает, свой нелегальный контроль до самых интимных сторон личной и семейной жизни. Достаточно одному из супругов обратиться с жалобой по месту работы другого супруга и вся семейная жизнь, станет предметом смакующего обсуждения, осложнится служебное положение — вплоть до увольнения с работы.

«Широкая» сеть детских учреждений, во-первых, не столь уж и широка — везде почти не хватает мест в детские сады, ясли, интернаты, во-вторых, скверно обслуживается — обслуживающий персонал в детских садах и яслях оплачивается по самым мизерным ставкам. Вся воспитательная работа пронизана духом преданности партократии. Пособия и льготы многодетным семьям, пособия по случаю рождения третьего ребенка настолько малы, что имеют чисто символическое значение. Это одна из главных причин сокращающейся рождаемости в СССР.

54. Гражданин СССР не рассматривается государством как личность. Граждане СССР — это подданные партократии. Им не гарантированы не только элементарные права и свободы, но и физическая, неприкосновенность. Широко распространены случаи индивидуального и массового ареста без соответствующего судебного постановления, еще шире — по сфабрикованным обвинениям. Страшные репрессии 30–40-х годов вовсе не изжиты, как не изжиты их организаторы и приверженцы. Эмиграция из СССР фактически запрещена, а попытки нелегальной эмиграции объявляются как измена родине и влекут за собой длительные сроки тюремного заключения. Граждане СССР не имеют права свободного выезда за границу. Даже туристские поездки сопровождаются длительной процедурой оформления, проверок, инструкций с предоставлением характеристики с места работы и обязательным посещением районных комитетов партии. Пребывание граждан СССР за границей жестко контролируется КГБ.

55. Неприкосновенность жилища граждан СССР весьма относительна. Служебная площадь изымается при увольнении. Рычагами самоуправства партократии по месту жительства являются домовые комитеты и домоуправления.

56. Личная жизнь граждан, переписка, телефонные разговоры широко контролируются, особенно беззащитны в этом смысле граждане в чем-либо неугодные властям. Повсеместно практикуется система тайной слежки и тайного доноса. Громаден по масштабу и разнообразен по форме институт платных агентов, так называемых сексотов, «стукачей».

57. Всемерный контроль за людьми, за их морально-

политической устойчивостью, за их преданностью официальной идеологии и партократии — обязанность всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.

Суд, прокуратура, вся юстиция в СССР целиком подчинена партократии и выражают волю и интересы властей.

58. Жалобы на действия должностных лиц в СССР чаще всего рассматривают сами эти должностные лица. Письма адресованные в центральные органы, пересылаются в местные органы, от которых как раз и ищут защиты авторы писем.

У граждан СССР есть по существу только одно право — право исполнения своих обязанностей, право беззаветного служения партократии. Закон не имеет должной силы, ибо власть и имущественное благополучие достигаются в СССР, как правило, вопреки закону. Для партократии нет другого закона, кроме закона силы.

60. Подневольный труд, служба — обязанность гражданина СССР. Такой же обязанностью стало по сути дела членство и участие в общественных организациях.

61. Одно из самых распространенных преступлений в СССР — хищение так называемой «социалистической собственности». Крадут все, кто только и откуда только может. Для рядового гражданина СССР это единственный способ не только обогащения, но просто сносного существования. «Не рядовые», бюрократическая, фаланга вообще не видят разницу между своей и «социалистической» собственностью, а хищения со стороны населения рассматривают как хищение собственной собственности, что вполне соответствует действительности. Казнокрадство в СССР опирается на мощную, сверху донизу систему коррупции. Ставшая достоянием гласности мощная коррупция в Грузии, других кавказских республиках вовсе не случайна и не исключительна для СССР.

62. Защита существующего строя — священный долг каждого гражданина СССР. Граждане СССР обязаны защищать интересы партократии вопреки интересам родины и всего общества. Несогласие с проводимой политикой официально квалифицируется как измена Родине, сюда, кстати относятся и попытки к эмиграции, и отказ от службы в армии, любая антипартийная деятельность, публикация критического произведения за рубежом, любые нелегальные действия оппозиционного характера, т. е. многое из того, его вполне допустимо в цивилизованных странах.

63. Служба в армии — обязанность советских граждан.

64. В СССР нет права на самоопределение нации. Любые проявления национального самосознания, национального

достоинства всячески пресекаются — вплоть до истребления и переселения целых народов в восточные и азиатские земли (эстонцы, евреи, чеченцы, крымские татары и другие).

65. Обязанность граждан СССР содействовать охране общественного порядка предполагает прежде всего обязанность доносить, «стучать» о разговорах и действиях антипартийного характера.

66. Граждане СССР обязаны воспитывать детей в духе существующей системы партократического воспитания, готовить к беззаветной службе, приумножать число подданных бюрократической верхушки.

67. Граждане СССР обязаны беречь природу. Из года в год ограничивается охота, рыбалка, нельзя уже сорвать цветок в лесу — так, в Московской области запрещено рвать многие виды лесных цветов. Однако ограничительные меры не относятся к партократии — она делает все, что заблагорассудится, где угодно, все заповедники находятся в ее безраздельном пользовании.

В СССР уничтожены или запущены большинство исторических памятников. Прекрасные здания бывших церквей разрушены или полуразрушены, используются в основном как складские и подсобные помещения.

68. Связи граждан СССР с иностранцами чрезвычайно ограничены и находятся под неусыпным контролем властей.

* * *

Мы прочитали два первых раздела проекта Конституции СССР.

Вряд ли имеет смысл комментировать остальные 105 статей. Они производны от фундаментальных основ Советского государства, изложенных в первых разделах, и не содержат для нас ничего принципиально нового.

А что нового в нынешнем проекте Конституции по сравнению с прежней, сталинской? Да тоже в принципе ничего. Что нового в нашем комментарии, что особенного изменилось в Советском Союзе за 40 лет? Ничего. Время, кажется, остановилось для нас. Было умерщвление целых социальных слоев, миллионы сгнили в концентрационных лагерях Востока и Севера. Была опустошительная война. Был XX съезд — оттепель, надежды, какое-то общее облегчение. Кончился хрущевский период и вот уже 13 лет — смутное время Генерального. Но стоит система. Как была так и есть в СССР одна из самых разнузданных диктатур.

Как не было, так и теперь нет элементарных гражданских свобод. Все мы знаем что творилось под эгидой, под буквой сталинской Конституции и видим что делается теперь. Так чего стоит эта, Конституция? Какой может быть закон в обществе беззакония? Не лучше ли для начала обсудить не закон, а его выполнение? Прежде, чем принимать новую Конституцию, посмотреть как выполнялась старая?

И тогда нам станет очевидно: мечты еще не воплотились в реальность, а сказке далеко до были. Действительная жизнь в СССР вовсе не похожа на парадные статьи Конституции. И тогда возникнет другой вопрос: Кто виноват? Кто виноват в нарушении Основного Закона 260 миллионного народа? Но нет, не возникает вопроса. Его просто некому ставить. Законодатель? — но его функции фактически отправляет партийное руководство. Партия и правительство? — никогда! Партократия мастерица на всякие позы, но уж на эту — никогда. Такого вопроса для нее не существует. И это естественно: виноватый не ищет виноватого. Лучше всего скрыться, претвориться — мол, ты здесь не при чем. Еще лучше — как будто ничего не случилось, все хорошо, разве не видите — «Озарено счастьем». Но это — ложь. И для партии, вставшей на костях и крови, для единовластной партии, на знамени, которой начертано: «Все для народа!» — это трусливая, позорная ложь.

Остаемся Мы. Те миллионы, кто имеет совесть и человеческое достоинство, кто не продался ни душой, ни телом, кто не рвет зубами карьеру и не закладывает для этого ближних. Но и Мы молчим. Ничтожество взгромоздилось на Нашу шею, творит беззаконие, попирает и понукает Нас, да приговаривает: битый небитого везет. Мы молчим. Пишут Конституцию, выдают Наше желаемое за Наше действительное, похотливые орды партийных писак ставят Наши имена под своим словоблудием. Мы молчим.

Мы до того уж свыклись с тем, что Нас дурачат, что не замечаем явного абсурда Конституции. В статье 2: Вся власть принадлежит народу, т. е. Совету народных депутатов. В статье 5: Руководящая и направляющая сила, ядро политическом системы — КПСС. Так кто же все-таки осуществляет власть: Советы или КПСС? Почему к власти народа примешивается, возносится над ней власть КПСС? В статье 39: Граждане СССР обладают всей полнотой личных прав и свобод, в статье 50: гарантируется свобода слова, печати, собраний митингов и т. п. Но тут же оговаривается: «в целях укрепления социалистического строя» (ст. 50), использование прав и свобод не должно наносить ущерб интересам государства (ст. 39). Непонятно, свободны или не свободны граждане СССР? Какая же это свобода, если

использование ее допускается только в целях укрепления существующего строя, в интересах государства, то есть той же партократии? Налицо нарочито широкие формулировки, много пафоса и мало конкретного. Свобода в СССР — даже в Конституции она с оговорками. Почему ж во «всенародном обсуждении» об этом ни слова? Вопиющая ложь Закона, издевательства прессы, продажных крикунов, наглых начальников режут глаз, а мы щуримся, но молчим. Мы молчим о том, что Мы думаем, Мы забыли о том, что Мы вообще способны думать, и открываем рот только затем, чтобы слово в слово, с воодушевлением и энтузиазмом говорить то, что велят говорить. Когда же находятся среди Нас те, кто не хочет молчать, кто не может молчать их объявляют отщепенцами, врагами народа, их судят от Нашего имени, их истребляют якобы для нашего же блага. Мы и тогда молчим.

Что это? Трусость? Усталость? Безмозглость? Где Наше личное, Наше национальное самосознание? По какому праву, по какой такой Конституции Мы вверили наши судьбы, судьбы наших детей неограниченной власти ограниченных людей? При нашем попустительстве выпотрошен великий народ, обесчещена Наша история, унизительно Наше настоящее, непроглядно Наше будущее. Свинцовой, смердящей, огненной тучей мы нависли над другими народами. Что мы суемся туда? Чем облагодетельствуем в результате мировой революции? Что несем? Нашу же нищету и боль.

Сказано: каждый народ достоин того правительства, которое он имеет. Советская партократия — Наше порождение. Нечего в заплеванных курительных с оглядкой пенять на правительство. Для нас оно — зеркало: Мы видим в нем Свое отражение. Какое оно, таковы и Мы. Вот почему и эта Конституция и сам характер «обсуждения» ее: — свидетельство Нашего общего, национального позора. Пора бы прозреть. Хватит молчать и лгать Себе. Изменимся Мы — изменится и правительство. Будет у Нас Закон и будет кому за него заступиться. Но — когда?

Однажды поэт сказал:

Когда уж не было ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно-былые...

(Брюсов)

Прошло 60 «победоносных» лет. Неужто и теперь нет другого

выхода? Неужто и теперь нас хватит только на эту вот ностальгическую ноту?

1977 г.

Два стихотворения

Заведу себе собаку,
Ласкового пса.
Будет с кем теперь поплакать,
Во дворе поссать.
Друг мой,
Друг мой
рыжей масти,
Счастье не в штанах.
Все мы сволочи отчасти
Хуже всех она.
Что б ей в мире пусто было,
А в награду шиш.
Старый кобель,
Друг мой милый,
Что же ты молчишь...

* * *

Слово —
серебро,
Молчанье —
золото.
Сотворили ночь средь бела дня.
Резали серпом,
Дробили молотом.
Все молчали:
лишь бы не меня
Десять лет колымил смолоду
К лысине усвоил наизусть
Слово —
серебро,
Молчанье —
золото.
Гнусный мир,
Я сам себя боюсь.